Книга несказанного



Егор Ралович

Егор Ралович

Книга несказанного

«Автор»
2026

Ралович Е.

Книга несказанного / Е. Ралович — «Автор», 2026

Ждан, писарь судной избы Гостиграда, правой рукой записывает то, что сказано. А левая рука в это время сама пишет на бересте то, что человек хотел сказать, но промолчал. Каждая такая береста отнимает у Ждана немного голоса, и к своим двадцати четырём годам он уже хрипит.Однажды на допросе воеводы левая рука выводит слова о заговоре против князя. Отныне Ждан знает больше, чем положено писарю, и не может никому довериться. Князь подозрителен и что-то скрывает, при дворе плетут сети поморские бояре, в монастыре пишут грамоту, которой не должно быть, а несказанное мудрого наставника Ждана, старшего судьи Судимира, почему-то совершенно пусто.Единственная, кто говорит с ним без утайки, – немая служанка Неждана, чьё несказанное и есть вся её речь. До Купальской ночи остаётся совсем немного, и Ждану предстоит решить, чего стоит правда, если прочесть её вслух можно лишь один раз.

© Ралович Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Судная изба 5
Глава 2. Короб под лавкой 12
Глава 3. Терем 17
Глава 4. Корчма у перевоза 23
Глава 5. Глаза князя 29
Глава 6. Буквы на песке 34
Глава 7. Утопленник 40
Глава 8. Ночная грамота 46
Глава 9. Пустое место 52
Глава 10. Поруб 58
Конец ознакомительного фрагмента. 60

Егор Ралович
Книга несказанного

Глава 1. Судная изба

В судной избе всегда пахло воском, мокрой шерстью и страхом. Воском – потому что свечи жгли с утра до вечера, даже в солнечный день: окна были узкие, затянутые бычьим пузырём, и свет сквозь них шёл мутный, как вода в половодье. Мокрой шерстью – потому что люди приходили сюда в чём были, с торга, с перевоза, с пашни, и в тесноте от них шёл пар. А страхом пахло всегда. Ждан давно перестал этому удивляться. У страха был свой запах, кислый, как у прокисшего кваса, и он въедался в бревенчатые стены крепче дыма.

Ждан сидел за своим столом у печи, слева от судейского места. Стол был старый, дубовый, со щербиной на углу, о которую он двенадцать лет назад, мальчишкой, разбил себе бровь. Перед ним лежали два листа: широкий пергамент для княжьей записи и под ним, чуть сдвинутая влево, береста. Бересту никто не замечал. Писари всегда держат под рукой бересту – для черновиков, для счёта, для того, чтобы проверить перо. Никому не приходило в голову спросить, почему Ждан никогда не пишет на ней при людях правой рукой.

– Встань, – сказал судья Судимир. – Назови себя.

Мужик у порога поднялся. Он был огромный, плечистый, с руками, коричневыми до локтей, как будто он окунал их в мореный дуб. От него несло дубильным корьём и тухлой кожей, и стоявшие рядом посадские невольно отодвигались.

– Онфим я, – сказал он. – Кожемяка. С Заречья.

– Отец твой?

– Сила. Тоже кожемяка был. Помер.

Правая рука Ждана сама собой выводила: «Онфим, Силин сын, кожемяка, живёт в Заречье». Буквы ложились ровно, одна к одной, как бусины на нитке. Почерк Ждана хвалили во всём детинце. Судимир, когда брал его в ученики, сказал: «У тебя рука честная. Честную руку видно сразу – она не торопится и не прячет хвостов». Ждан тогда не понял, о чём он, а потом понял и долго не мог забыть.

Левая рука лежала на бересте. Пока она была неподвижна.

– Тебя обвиняет Гостята, мясник с Торга, – говорил Судимир, сложив сухие пальцы домиком. Он всегда так сидел, когда разбирал дело: прямо, не шевелясь, с полуприкрытыми глазами, будто дремал. Кто его не знал, думал, что старик и правда дремлет. Кто знал, боялся этой дрёмы сильнее любого крика. – Гостята говорит, что ты в ночь на Николин день залез к нему в клеть и унёс три шкуры, телячьих, выделанных, и связку ремней. Что скажешь?

– Не брал я, – сказал Онфим.

Голос у него был глухой, тяжёлый. Он смотрел не на судью, а в пол, и Ждан видел, как ходят желваки на его щеках.

Правая рука записала: «Не брал».

Левая дрогнула.

Это всегда начиналось одинаково. Сначала холод в кончиках пальцев, словно он сунул руку в колодезную воду. Потом пальцы сжимались вокруг писала – костяного, тонкого, которым царапают бересту. Потом рука начинала двигаться сама, а Ждан смотрел на неё краем глаза, как смотрят на чужую собаку, которая вдруг пошла рядом.

На бересте появлялось: «Брал бы – так взял бы больше. Он мне за прошлый год восемь ногат должен».

Ждан не дал лицу дрогнуть. Двенадцать лет он учился не давать лицу дрогнуть.

– Гостята, – позвал Судимир. – Говори.

Мясник выступил вперёд. Он был невысок, кругл, румян, с маленькими быстрыми глазками и с такой бородой, будто её нарочно расчёсывали к суду. Говорил он гладко, складно, как читал по писаному.

– Пресветлый судья, я человек торговый, мне врать нет корысти. В ночь на Николу слышу – в клети шум. Выхожу с огнём – никого, а дверь открыта, и замок сбит. Утром гляжу – трёх шкур нет. А накануне этот вот, – мясник ткнул пальцем в Онфима, – приходил ко мне, грозился. Говорил, мол, не отдашь своё – сам возьму. При людях говорил. И кто, кроме него, такую дверь своротит? У меня засов дубовый, его баба не сломает.

Правая рука выводила. Левая дрогнула снова. Холод. Писало.

«Шкуры я сам Жиряте продал, за полцены, чтоб долг не отдавать. Кожемяка дурак, на суде растеряется. А засов я сам ночью топором сбил».

Ждан перевёл дыхание. Это было неглубокое, незаметное дыхание, которым он научился дышать в такие мгновения. Внутри, под рёбрами, поднималась привычная муть: смесь отвращения, жалости и ещё чего-то, чему он не знал имени. Будто он подсматривал в щель бани. Будто без спросу брал чужое.

– Онфим, грозился ли ты Гостяте?

– Говорил, – угрюмо ответил кожемяка. – Говорил, что своё возьму. Так он мне должен.

– Сколько?

– Восемь ногат. За выделку. Я ему кожи год выделывал, а он всё – завтра да завтра.

– Свидетели есть, что должен?

Онфим помолчал. Левая рука Ждана написала: «Нету. Я на слово верил. Дурак».

– Нету, – сказал Онфим.

Судимир приоткрыл глаза и посмотрел на кожемяку долгим, ничего не выражающим взглядом. Потом на мясника. Потом на Ждана – мельком, как всегда смотрел на писаря, чтобы убедиться, что тот успевает.

Ждан успевал. Он всегда успевал.

Здесь, в этом месте, было самое трудное. Он знал правду. Она лежала у него под левой ладонью, процарапанная на светлой бересте, ещё пахнущей берёзой. И он не мог её сказать. Никто не поверит писарю, который скажет: «Я знаю, что мясник врёт, потому что моя левая рука так написала». Двенадцать лет назад одна женщина уже пробовала объяснить людям, откуда знает чужую правду. Её звали Ведана. Её связали и бросили в Сежу с камнем на шее, и это было последнее, что Ждан видел в тот день, потому что потом он долго ничего не видел от слёз.

Но знать правду и молчать – это одно. А знать правду и подтолкнуть к ней – совсем другое. Этому Ждан тоже научился.

– Дозволь спросить, судья, – сказал он.

Голос у него вышел хриплый, надтреснутый, будто он полночи орал на морозе. Посадские обернулись. Над хрипом Ждана в детинце посмеивались: писарь, мол, оттого и пишет так хорошо, что сказать толком ничего не может.

Судимир кивнул.

– Для записи, – пояснил Ждан. – Чтоб счёт был верный. Гостята, ты сказал – три шкуры, телячьих, выделанных. А чьей выделки?

Мясник моргнул.

– Его, – сказал он, кивнув на Онфима. – Его выделки. Он мне и делал.

– Значит, ты у него кожи принял, а он у тебя их же украл?

В избе кто-то хмыкнул. Мясник покраснел.

– Принял и заплатил! – сказал он, слишком быстро. – А он, видать, пожалел, что дёшево отдал, вот и пришёл назад.

– Заплатил, – повторил Ждан, записывая. – Тогда, верно, есть кому подтвердить, что ты платил? Ты человек торговый, у тебя, поди, и бирка резана, и мена записана.

Это было рискованно. Ждан чувствовал, как Судимир смотрит на него из-под век. Писарю не полагалось вести допрос. Писарю полагалось писать. Но Судимир молчал, и Ждан продолжил, глядя в пергамент:

– И ещё. Шкуры его выделки приметные. Он, я слышал, по краю ремённые дырки бьёт в три ряда, так никто на Заречье не делает. Если такие шкуры у кого на Торгу найдутся – значит, кто-то их продал. Вор ли, хозяин ли – это уж судья разберёт. Только надо бы послать по рядам, у кого кожа с тройной дыркой. У Жиряты, например. Он телятину у всех берёт.

Последнее имя он сказал нарочно небрежно, будто вспомнил к слову. И не поднял глаз. Он смотрел, как засыхают чернила на последней букве, и слышал, как в избе стало тихо.

Мясник открыл рот и закрыл. Левая рука Ждана, лежавшая на бересте, вздрогнула и вывела короткое, как удар: «Откуда он знает?»

– Пошли, – сказал Судимир негромко. – Ратша.

От двери отделился молодой гридень в синей свите, с мечом у пояса и с таким веснушчатым лицом, что меч казался на нём игрушкой. Он подмигнул Ждану – так, чтобы никто не видел, – и вышел.

Ждали недолго. Торг был в двухстах шагах, у подножия детинца, и вернулся Ратша, ещё и свечи не успели оплыть, а за ним, отдуваясь, шёл толстый Жирята, держа под мышкой три телячьи шкуры. По краю у каждой шли дырки в три ряда, ровные, как вышивка.

– Купил, – сказал Жирята, переводя глаза с судьи на мясника. – Купил честно! За полцены! Вот у него и купил, у Гостяты, на третий день после Николы!

После этого всё пошло быстро. Мясник сперва божился, потом плакал, потом упал судье в ноги. Судимир слушал его, не меняя позы, а потом сказал ровно, как всегда:

– Гостяте за лжесвидетельство – двенадцать гривен продажи в княжью казну. Онфиму – восемь ногат долга и ещё столько же за обиду. Замок починить за свой счёт. Писарь, пиши.

Ждан писал. Правая рука выводила приговор, а левая лежала спокойно на бересте, и на той было исцарапано всё, что прятали в себе двое людей у порога. Он загнул угол бересты, сложил её вдвое и сунул в рукав, туда, где у него был пришит узкий карман. Никто не видел. Никогда никто не видел.

Онфим, уходя, остановился у порога и посмотрел на Ждана. Взгляд у него был тяжёлый, непонятный. Потом кожемяка коротко поклонился, коснувшись пальцами земли, – низко, как кланяются не писарю, а старшему, – и вышел.

Ждан почувствовал, как у него горят уши.

– Спрашивал ты лишнего, – сказал Судимир, когда изба опустела наполовину и служка пошёл менять свечи. Он сказал это не глядя, перебирая бумаги, мягко, словно речь шла о погоде.

– Для записи, судья.

– Для записи, – повторил старик. В голосе его не было ни упрёка, ни похвалы. – Рука у тебя честная, Ждан. А язык торопливый. Смотри, как бы язык однажды руку не обогнал.

– Он у меня и так еле ходит, – прохрипел Ждан.

Судимир улыбнулся – одними уголками губ. Улыбка у него была тонкая, сухая, как старый пергамент.

– Ходит, когда ему нужно, – сказал он. – Следующих зови. Там воевода пришёл, по делу своего конюха. Не задерживай его, у воеводы времени мало.

Ждан кивнул и потянулся за новой берестой.

Он знал, что у него трясутся пальцы, и знал, что это от дара. Каждый раз после записи несказанного левая рука немела, а горло драло, будто он проглотил горсть ячменной ости. Хрип в голосе появился у него лет в четырнадцать, и с каждым годом становился хуже. Лекари

говорили – застудил. Знахарки говорили – сглазили. Ждан не говорил ничего. Он давно сам догадался, чем платит.

Дверь отворилась, и в избу вошёл воевода Твердята.

Он вошёл так, как входят в чужой дом люди, которые привыкли, что любой дом – их. Не пригибаясь, хотя притолока была низкая, и Ждан ждал, что он стукнется. Но воевода не стукнулся. Он был высок, сух, жилист, с короткой седой бородой и с лицом, на котором, казалось, никогда не бывало улыбки – только старый шрам от левой брови до уха, похожий на трещину в камне. Плащ на нём был простой, серый, но застёгнут серебряной фибулой с волчьей головой. За ним шёл, втянув голову в плечи, молодой конюх с распухшим носом.

– Мир дому, – сказал Твердята, не снимая шапки. – Не задержу, судья. Дело пустое.

– Пустых дел не бывает, – ответил Судимир, приподнимаясь в знак уважения. – Садись, воевода.

– Постою.

Ждан обмакнул перо и вывел на пергаменте: «Пришёл воевода Твердята, Ратиборов сын, с конюхом своим…»

– Как звать? – спросил Судимир у конюха.

– Сбыня, – пробормотал тот.

– Сбыня, конюх, холоп воеводы Твердяты. Говори, воевода.

Твердята говорил коротко, как отдавал приказы. Конюх его, Сбыня, в прошлую седмицу повёл княжьего коня на водопой и в Заречье, на перевозе, ввязался в драку с перевозчиками. Перевозчики требуют за выбитый зуб гривну. Воевода холопа своего от суда не прячет, но и платить за дурака гривну не хочет, а хочет, чтобы судья разобрал, кто начал.

Пока он говорил, левая рука Ждана лежала спокойно.

Это было странно. Обычно, когда человек говорит перед судом, в нём всегда что-то шевелится – мелкое, суетное, не стоящее и строчки: «Скорей бы обедать», «Только бы про сестру не спросили», «Вот бы этому писарю перо сломать». Ждан привык к этим мелочам, как привыкают к мухам. Береста к вечеру бывала исписана ими вдоль и поперёк. Но воевода говорил ровно, сухо и, кажется, говорил ровно то, что думал. Левая рука не шевелилась.

Ждан поймал себя на том, что почти восхищается.

Судимир расспросил конюха, расспросил двоих перевозчиков, которые давно топтались у двери, сжимая шапки. Дело и правда было пустое. Сбыня, как выяснилось, обозвал перевозчика «зареченской вошью», тот ответил, что лучше быть вошью, чем холопской лошадью, и дальше всё пошло само. Конюх хлюпал разбитым носом и смотрел в пол. Перевозчик показывал дырку в зубах. В избе пахло рекой и навозом.

– Виноваты оба, – решил Судимир. – Сбыня начал словом, перевозчик – рукой. Слово и рука – равный вес. Сбыне – полгривны за зуб, перевозчику – столько же за нос. Расходитесь миром. Воевода, согласен?

– Согласен, – сказал Твердята. – Только у меня ещё одно, судья. Раз уж я здесь.

– Говори.

– Князь велел мне до Купалы набрать сотню молодых в гридницу. Из посадских, из Заречья, кто пожелает. Мне нужно, чтоб судная изба мне дала роспись, кто из них в долгах и под судом, чтоб я должников не брал. Пусть твой писарь составит.

Судимир кивнул.

– Составит. Ждан, запиши: воеводе нужна роспись к Купале.

– К Купале, – повторил Твердята. И чуть заметно усмехнулся – впервые за всё время. – Князь велел, чтобы к Купальской ночи сотня была готова. Будут, говорит, праздники большие. Порядок нужен.

Вот тогда это и случилось.

Холод ударил в пальцы так резко, что Ждан чуть не выронил писало. Никогда ещё дар не приходил так – не медленным холодком, а ударом, будто кто-то схватил его за запястье ледяной рукой. Левая рука дёрнулась и поползла по бересте, и Ждан, не глядя, по одному движению понял, что это не мелочь. Мелочи пишутся быстро, неровно, с кривыми хвостами. А это выходило медленно и с нажимом, глубоко вдавливая писало в мягкую берёзовую кожу, как будто рука резала по живому.

Он не смотрел вниз. Он смотрел на пергамент, на свою правую руку, которая продолжала выводить: «…и просил воевода росписи к Купале…»

Потом левая рука остановилась.

– Всё, – сказал Твердята. – Бывай, судья.

– Бывай, воевода. Поклон князю.

Твердята повернулся к двери, и на миг его взгляд упал на Ждана – на писаря у печи, на его склонённую голову, на перо. Взгляд был пустой, усталый, равнодушный. Так смотрят на лавку, на печь, на чужую собаку. Потом дверь закрылась, и вместе с ней, кажется, закрылось что-то в груди у Ждана.

Он опустил глаза.

На бересте, глубокими, рваными бороздами, было написано:

«Князь до Купальской ночи не доживёт. А мне и печали нет. Пусть делают, что задумали. Не моя рука – не мой грех».

Ждан смотрел на эти слова и не мог отвести глаз. Сердце у него стучало где-то в горле, там, где сидел хрип. Буквы плыли.

– Ждан.

Он вздрогнул.

– Ждан, следующих зови, – повторил Судимир. – Что ты, уснул?

– Нет, судья. – Голос не слушался, и Ждан закашлялся, прикрыв рот правой рукой. Левой он медленно, очень медленно сложил бересту и спрятал её в рукав, к той, другой, с кожемякой и мясником. Рука у него была мокрая. – Горло, судья. Прости.

– Горло, – сказал Судимир. Он смотрел на Ждана из-под полуопущенных век, и по его лицу, как всегда, ничего нельзя было прочитать. – Сходи к Агапиту, пусть даст тебе мёда с травами. Он князю глаза лечит, авось и тебе горло вылечит. Следующих зови.

Ждан позвал следующих.

До вечера он записал ещё восемь дел: пропавшую козу, сбитую межу, поруганную вдову, украденную сеть и ещё что-то, чего он потом не мог вспомнить. Правая рука писала ровно, ни разу не дрогнула. Левая подбирала обычный мусор: «скорей бы», «только бы не», «вот бы его»… А Ждан всё это время чувствовал в рукаве ту бересту, как чувствуют в сапоге острый камень.

«Не доживёт до Купальской ночи».

До Купалы оставалось тридцать два дня. Он посчитал это, ещё не успев подумать, зачем считает.

Когда последний проситель ушёл и служка начал гасить свечи, Ждан собрал пергаменты в короб, перевязал их и отнёс в судейскую клеть, где хранились записи. Судимир уже ушёл – он всегда уходил раньше, ещё засветло, говорил, что старые глаза плохо видят в сумерках, хотя Ждан ни разу не замечал, чтобы старик плохо видел. Клеть была тёмная, пахла мышами и старыми чернилами. Ждан постоял в ней дольше, чем нужно, глядя на полки, на свитки, на берестяные связки с делами за много лет.

Где-то здесь, на верхней полке, был короб с делами двенадцатилетней давности. Ждан знал, где именно. Он никогда его не открывал.

– Ты чего тут, писарь? Мыши заели?

Ратша стоял в дверях, привалившись плечом к косяку, и жевал яблоко. Яблоко было прошлогоднее, сморщенное, но Ратша жевал его с таким удовольствием, будто это был пряник.

– Ухожу, – сказал Ждан.

– Здорово ты мясника, – Ратша откусил ещё кусок. – Я, как Жиряту за шиворот брал, чуть со смеху не помер. Он мне кричит: «Я честно купил!» А я ему: «Ну так и пошли, честный, судья честных любит». Откуда ты про тройную дырку-то знал?

– Видел у Онфима на торгу.

– А про Жиряту?

– Он телятину у всех берёт. Все знают.

Ратша посмотрел на него внимательно. При всей своей простоте Ратша был не дурак, и Ждан знал это лучше других. Они выросли на одной улице, Гончарной, дрались одними палками, удили рыбу с одного мостка. Когда Ждана после материной смерти дразнили «ведьминым щенком», Ратша дрался за него с тремя сразу и ходил потом месяц с подбитым глазом, гордый, как князь.

– Чего бледный такой? – спросил Ратша.

– Устал.

– Пошли в корчму. Я плачу.

– Ты? Платишь? – Ждан попытался улыбнуться. – Это ты где гривну нашёл?

– Да не нашёл, проиграл мне один в зернь. Пошли, говорю. На тебе лица нет.

Ждан покачал головой.

– Не сегодня. Ратша, слушай… – Он замялся. Слова застряли в горле вместе с хрипом. Что он мог сказать? «Ратша, воевода твой, которому ты служишь, хочет, чтобы князь умер, и знает, что кто-то это готовит»? Ратша спросит: откуда знаешь? И что тогда?

– Чего? – Ратша перестал жевать.

– Ничего. Князь здоров?

Ратша вытаращил глаза.

– Князь? Здоров, а чего ему. Вчера на охоту ездил, кабана взял. Ну, глаза, говорят, побаливают, Агапит ему капли капает. А что?

– Ничего. Так спросил. Сегодня воевода про Купалу говорил. Праздники, говорит, большие будут.

– Будут, – подтвердил Ратша с удовольствием. – Князь хочет поморских гостей звать, братьев княгининых, и Перемиль, кажись, позовёт, мириться. Медов, говорят, уже наварили на всю гридницу. Мне бы только в сторожу на ту ночь не попасть, а то вся Купала мимо.

– Попадёшь – меняйся.

– С кем? Все хотят через костёр прыгать. – Ратша вздохнул и выкинул огрызок. – Ладно, раз не идёшь, я один пойду. Ты, это… поешь хоть. А то вон, тень одна.

Он ушёл, насвистывая. Ждан слышал его свист до самых ворот детинца.

Потом он остался один в тёмной клети, нащупал в рукаве две бересты и вытащил одну, ту, что с воеводой. При свете из двери он разглядел глубокие, рваные борозды букв.

«Пусть делают, что задумали».

Кто – «они»? Что задумали? Как?

Он знал одно: несказанное не врёт. Люди врут словами, взглядами, улыбками. Люди врут даже сами себе. Но то, что они хотели сказать и проглотили, – это всегда правда. Двенадцать лет дара научили его этому, как ничему другому. Несказанное не умеет лгать, потому что его никто не собирался слушать.

Значит, кто-то хочет убить князя. А воевода, который отвечает за его охрану, знает и будет молчать.

Ждан спрятал бересту обратно и вышел из клети. На дворе детинца было уже сумеречно. Над теремом носились стрижи, где-то во дворе ржали кони, пахло свежим хлебом из княжьей

поварни и дымом. В высоком окне терема горел огонь – там, где была ложница князя. Ждан постоял, глядя на это окно, потом опустил голову и пошёл к воротам.

Он не знал, что будет делать. Он знал только, что до Купальской ночи осталось тридцать два дня и что он – единственный в Гостиграде человек, который слышал, как воевода Твердята промолчал о смерти князя.

У ворот стражник окликнул его:

– Эй, писарь! Хрипун! Чего такой смурной? Мясник, что ли, проклял?

– Проклял, – ответил Ждан, не останавливаясь.

– Ну, ты ему тоже пожелай чего-нибудь, – посоветовал стражник и засмеялся.

Ждан не ответил. Он шёл вниз, по крутому взвозу, к Гончарному концу, и в рукаве у него лежали чужие слова, тяжёлые, как камень, который двенадцать лет назад привязали к шее его матери.

Глава 2. Короб под лавкой

Гончарный конец спускался к Сеже уступами, как ступени огромной лестницы, которую строил пьяный великан. Дома лепились к склону как придётся: один выше, другой ниже, у третьего крыльцо выходило прямо на крышу соседа. Улица вилась между ними, то упираясь в забор, то ныряя в овраг, по дну которого бежал ручей, мутный от глины. Здесь пахло сырой глиной, дымом от горнов и кислым молоком, которое гончарихи выставляли на ночь в крынках. По вечерам горны остывали, и над концом стояла тишина, только где-то тянула песню пьяная баба да лаяли собаки.

Дом Ждана стоял почти у самой воды, последним на улице. Дальше был только пустырь, заросший лопухами и крапивой, а за ним – обгорелый остов другого дома, большого, двухъярусного, с провалившейся крышей. Туда никто не ходил. Мальчишки на Гончарном пугали друг друга, что в том доме по ночам кто-то пишет: скрипит, мол, писало по бересте, а никого нет. Ждан слышал эти рассказы с детства. Он знал, что в доме никто не пишет. Он знал это лучше всех, потому что когда-то в нём жил.

Свой нынешний дом он купил на первое жалованье писаря, шесть лет назад. Изба была маленькая, в одну горницу, с печью, лавками вдоль стен и единственным окном на реку. Он нарочно выбрал её, хотя на Торгу предлагали лучше и не дороже. Отсюда, из окна, было видно то место, где Сежа делает поворот и где вода над омутом всегда тёмная, даже в полдень.

Он затворил дверь, задвинул засов и только тогда позволил себе сесть.

Руки дрожали. Левая сильнее, правая чуть-чуть. Он положил их на колени и долго смотрел, как дрожь утихает. Горло драло. Он зачерпнул ковшом воды из кадки, выпил, закашлялся, выпил ещё. Хрип не уходил. Он никогда не уходил, только к утру становился немного тише, а к вечеру, после целого дня в судной избе, иногда пропадал совсем, и тогда Ждан мог только шептать.

Потом он встал, отодвинул лавку у печи и поднял половицу.

Короб был большой, дубовый, оббитый по углам медью. Когда-то в нём хранили приданое – то ли материно, то ли бабкино, Ждан не помнил. Теперь в нём лежали бересты. Сотни берест, свёрнутые в трубки, перевязанные лыком, разложенные по годам. Самые старые, нижние, были исписаны неровно, по-детски, с ошибками; иные буквы на них стояли задом наперёд. Верхние – ровным, мелким почерком, похожим на его правый, но всё-таки чужим. Левая рука писала не так, как правая. Она писала с наклоном влево, с длинными хвостами у букв, с особым завитком у «добра» и у «живёте». Если бы кто-нибудь сравнил бересты из короба с пергаментами судной избы, он не узнал бы руку.

Ждан этого и хотел.

Он вынул из рукава две сегодняшние бересты. Ту, где был кожемяка и мясник, он перевязал лыком и, не перечитывая, положил в короб, к другим за этот год. А вторую развернул на столе, придавив углы плошкой и ножом, и зажёг лучину.

«Князь до Купальской ночи не доживёт. А мне и печали нет. Пусть делают, что задумали. Не моя рука – не мой грех».

При лучине буквы казались ещё глубже. Он провёл пальцем по бороздам. Они были неровные, рваные, местами писало прорезало бересту насквозь.

Он помнил, когда это случилось в первый раз.

Ему было одиннадцать. Мать, Ведана, жила тогда в большом доме у пустыря, том самом, что теперь стоит обгорелый. Отец Ждана, Лука, гончар, умер, когда Ждан был ещё грудным, и мать одна держала дом. Она была ведуньей – так её звали на Гончарном, и в слове этом не было ни страха, ни насмешки. Она знала травы, знала, как остановить кровь и выгнать горячку, умела уговорить корову, которая не даёт молока. Но главное – она знала грамоту, редкую для

женщины, и к ней ходили писать. Писать письма в другие города, писать долговые, писать грамоты на землю, на наследство, на развод. Мать писала за плату, и писала так, что потом в суде её записи никто не мог оспорить.

Ждан сидел у неё под рукой, сколько себя помнил. Сначала просто смотрел. Потом она дала ему бересту и писало и стала учить. Он был левшой, и мать не стала его переучивать.

– Пиши, какой рукой пишется, – сказала она. – Рука сама знает, какая из них правдивая.

Однажды к ней пришёл человек – Ждан не помнил его лица, только бороду, рыжую, с проседью. Человек хотел написать письмо брату в Перемиль. Мать сидела за столом, человек диктовал, а Ждан, сидевший рядом, от нечего делать водил писалом по обрезку бересты. Он не думал, что пишет. Он просто вслушивался в голос рыжебородого, в то, как тот запинается, как выбирает слова.

Когда человек ушёл, мать увидела, что написано на обрезке.

«Не приезжай, брат. Отец оставил всё мне, а я тебе солгал, что поровну».

Мать долго смотрела на бересту. Потом подняла глаза на сына, и Ждан на всю жизнь запомнил её лицо. В нём не было ни удивления, ни испуга. В нём была печаль – такая глубокая и такая древняя, будто она ждала этого дня с его рождения.

– Ты это писал? – спросила она.

– Не знаю, – честно сказал Ждан. – Само.

Мать сожгла бересту в печи. Потом села рядом с ним, обняла и долго молчала.

– Это дар, – сказала она наконец. – Он есть у меня. Был у моей матери. Ты будешь слышать то, что люди не сказали. Это не их мысли. Мысли бегают, как мыши, их не поймаешь. А несказанное – это то, что уже стояло у человека на языке и что он проглотил. Оно тяжёлое. Оно хочет наружу. Поэтому рука его и ловит.

– А это плохо? – спросил Ждан.

– Это ни плохо, ни хорошо. Это как нож. Ножом режут хлеб, ножом режут горло. – Она погладила его по голове. – Слушай меня. Никому не говори. Никогда. Ни другу, ни жене, ни попу на исповеди. Люди не прощают тому, кто знает их несказанное. Они прощают убийство, прощают кражу. Этого – не прощают.

Через год её утопили.

Ждан встал, подошёл к окну. За окном было уже темно, но луна поднялась над Заречьем и проложила по Сеже дорожку – тусклую, рябую. В том месте, где река поворачивала, дорожка обрывалась. Там был омут.

Её обвинили в «лживом письме». Будто бы она написала подложную грамоту, по которой один боярский сын получил отцовское наследство в обход старшего брата. Свидетели клялись, что видели, как она писала. Грамоту показали на суде – почерк был её, и подпись её, и знак её, маленький завиток на конце строки. Она говорила, что не писала этой грамоты никогда. Её не слушали. Судил её тогдашний старший судья, Звенислав, давно умерший. Записывал за ним молодой писарь, которого Ждан не помнил. А рядом со Звениславом на скамье сидел второй судья, тогда ещё не старый, с аккуратной бородой и полуприкрытыми глазами.

Судимир.

Ждан узнал об этом только много лет спустя. Он тогда уже служил в судной избе, и как-то раз, разбирая старые записи, наткнулся на роспись судей за тот год. Он долго смотрел на имя, потом свернул свиток и положил на место. Судимир взял его в ученики через три года после казни матери. Сам пришёл на Гончарный, сам нашёл четырнадцатилетнего сироту, который перебивался тем, что писал за посадских письма, сам сказал: «Пойдёшь ко мне в избу?» Ждан тогда решил, что старик пришёл из жалости. Или из вины. Он и сейчас не знал, из чего.

Но одно он знал наверняка: Судимир не голосовал за её смерть. Ждан нашёл и это, в той же связке. Звенислав осудил. Двое других судей согласились. Судимир «воздержался, ибо не уверен». Это была единственная запись за тот год, где кто-то воздержался.

Ждан хранил эту запись в памяти, как хранят тёплый уголёк в ладонях. Иногда ему казалось, что она – единственное, что удерживает его в судной избе.

Он вернулся к столу.

«Пусть делают, что задумали».

Правила дара он выучил сам. Мать успела рассказать немного. Остальное он узнал за двенадцать лет – на ощупь, на ошибках, на боли.

Первое: дар работает, только когда он записывает чужую речь. Не когда просто слушает, не когда разговаривает сам. Только когда у него в правой руке перо и он ведёт запись. Поэтому он и пошёл в писари. Поэтому мать писала грамоты за других.

Второе: левая рука ловит не всё. Только то, что человек уже готов был сказать, – стояло на языке, просилось наружу, – и проглотил. Мелочь ловится легко. Большое – тяжело и редко. Потому что большое человек прячет глубже.

Третье. Это третье он узнал не сразу. Когда несказанное ложится на бересту, оно уходит из человека. Ждан впервые заметил это лет в шестнадцать. Соседка, тётка Мавра, пришла жаловаться в судную избу на мужа, который её бил. Говорила она много, а несказанное у неё было одно: «Убью его, если ещё раз тронет». Ждан записал. А через месяц муж Мавры снова избил её, и Ждан ждал, что будет. Ничего не было. Мавра поплакала и простила. Он потом спросил её, как бы невзначай, не боится ли она, что муж снова её покалечит. Она удивилась: «А что ж я, баба, сделаю?» И Ждан вдруг понял, что ей даже в голову не приходит, что можно что-то сделать. Та злость, то «убью» – ушло. Он забрал.

После этого он целый год не брал в руки перо. Перебивался, нанимаясь носить мешки на пристани. Потом Судимир пришёл за ним снова, и Ждан вернулся. Потому что без пера жить было ещё хуже. Без пера он слышал людей – но не понимал их. А с пером, с берестой под левой рукой, мир становился ясным и честным, хоть и страшным.

Четвёртое правило было его собственное: он платит голосом. Каждая береста забирает у него немного. Он не знал, сколько осталось. Иногда ему казалось, что лет на десять. Иногда – что на год.

Ждан снова провёл пальцем по бороздам.

Воевода, когда приходил, не хотел ничего говорить. Он говорил ровно то, что думал, – о конюхе, о перевозчиках, о росписи. Только в самом конце, когда речь зашла о Купале, в нём что-то шевельнулось, огромное, тёмное. Оно поднялось к языку – и он проглотил. А рука Ждана поймала.

И забрала.

От этой мысли Ждану стало холодно. Если несказанное уходит из человека – значит, Твердята теперь не помнит, что хотел это сказать. Мысль о том, что князь умрёт, осталась при нём, знание осталось. Но то «пусть делают, мне и печали нет» – та готовность промолчать – может быть, ушла? Может быть, теперь воевода, не понимая почему, пойдёт к князю и скажет?

Или наоборот. Может быть, теперь, когда несказанное ушло, ему стало легче молчать?

Ждан не знал. Он никогда не знал наверняка, что именно забирает и что остаётся.

Он взял бересту, поднёс к лучине. Пламя лизнуло край, береста зашипела, начала сворачиваться в трубку, по краю побежала чёрная кайма. Сжечь. Сжечь и забыть. Он писарь, а не князь, не воевода и не судья. Его дело – писать. Мать сказала: никому не говори. Никогда. Люди не прощают.

Пламя добралось до первой буквы. «К» почернело и начало осыпаться.

Ждан выдернул бересту из огня и прихлопнул ладонью. Обжёгся. Зашипел сквозь зубы, сунул пальцы в рот.

Он сидел так долго, глядя на опалённый край. «Князь» стало «…нязь». Остальное было цело.

Нет. Он не мог.

Он не любил князя Мстивоя. Его никто особенно не любил. Князь был суров, скуп на милость и щедр на наказание. Он мог прилюдно высечь боярина за опоздание на совет и простить разбойника, если тот хорошо дрался. Двенадцать лет назад, когда топили Ведану, князь Мстивой только-только сел на стол после смерти отца, Горды. Говорили, что он был занят похоронами и не вникал в суды. Ждан тогда кричал на берегу, тянул руки к князю, который проезжал мимо с дружиной, – а князь даже не повернул головы. Ждан помнил его профиль, жёсткий, словно вырезанный из дерева, и мокрую от дождя бороду.

Нет, он не любил князя.

Но он двенадцать лет знал, каково это – стоять на берегу и смотреть, как убивают человека, а все вокруг знают, что что-то не так, и молчат. Молчат. Проглатывают. Каждый из тех людей на берегу что-то проглотил тогда. Ждан не держал пера, он не мог этого записать, но он видел их лица. Он видел, как сосед, дядька Лихой, открыл было рот и закрыл. Как баба Овдотья перекрестилась и отвернулась. Как молодой писарь из судной избы, тот, что записывал приговор, опустил голову ниже, чем нужно.

Все молчали. Все несли в себе своё несказанное, а потом пошли по домам и легли спать.

«Не моя рука – не мой грех».

Ждан положил бересту на стол, разгладил её ладонью. Боль от ожога пульсировала в пальцах. Он смотрел на рваные буквы и чувствовал, как внутри поднимается что-то, чему он не знал названия. Не храбрость. Храбрым он себя никогда не считал. Скорее – тошнота. Отвращение к тому, что придётся стоять на берегу ещё раз.

– Не моя рука, – прошептал он вслух. Голоса не было, был только сиплый выдох. – Моя, воевода. Как раз моя.

Где-то у реки закричала ночная птица. Ждан вздрогнул, обернулся к окну. Луна ушла за облако, и Сежа стала чёрной, неразличимой. Только у омута, ему показалось, что-то блеснуло. Он знал, что это просто вода.

Что он мог сделать?

Пойти к князю? Писаря судной избы не пустят к князю без зова. Да если и пустят – что он скажет? «Воевода твой, княже, промолчал о твоей смерти». Князь спросит: «Откуда знаешь?» И Ждан либо солжёт, либо скажет правду. Если солжёт – его спросят, где свидетели, а свидетелей нет. Если скажет правду… Он вспомнил камень на материной шее.

Пойти к Судимиру? Старик был умён, осторожен, знал при дворе всех. Если кто и мог что-то сделать, то он. Но и Судимир спросит: «Откуда знаешь?»

Ждан закрыл глаза.

Можно было не говорить откуда. Можно было сказать: «Слышал». Подслушал в корчме, в гриднице, на торгу. Писари много слышат. Это было бы почти правдой.

А если Судимир спросит: «От кого слышал?»

И потом – кто такие «они»? Воевода сказал: «пусть делают, что задумали». Значит, есть другие. Их Ждан не знал. Может быть, они при князе. Может быть, они при Судимире. Может быть, сам Судимир…

Он оборвал эту мысль. Нет. Только не старик. Старик воздержался, когда судили мать. Старик подобрал его, сироту. Старик хвалил его руку.

Но старик и правда никогда не плохо видел в сумерках.

Ждан встал, прошёлся по избе. Половицы скрипели. Короб под лавкой зиял открытым ртом. Он подошёл, посмотрел на ряды берестяных трубок. Сотни. Тысячи чужих слов. Если бы кто-то нашёл этот короб, половина Гостиграда пошла бы под суд, а вторая половина – передралась бы между собой. Здесь были признания в изменах, в кражах, в ненависти. Здесь была ревность, зависть, жадность. Здесь было и хорошее – он помнил, как вдова на суде о наследстве сказала про покойного мужа «был строг», а несказанное у неё было «я его так любила, что и

сейчас по ночам зову». Но хорошего было мало. Люди редко глотают хорошее. Хорошее они чаще говорят.

Он вдруг подумал, что мать, наверное, тоже держала такой короб. И что, может быть, он до сих пор где-то лежит. В том обгорелом доме за пустырём. Никто его не нашёл, потому что после казни дом подожгли – не со зла, как говорили потом, а «чтоб ведьмино не осталось». Ждан тогда был у соседей. Он видел пожар издали.

Он никогда не ходил туда искать. Боялся.

Ждан опустил половицу, придвинул лавку. Бересту воеводы он не положил в короб. Он свернул её туго, перевязал ниткой, выдернутой из рубахи, и спрятал за пазуху, в маленький кожаный мешочек, который носил на шнурке вместо креста. Там когда-то лежал материн оберег – щепка от её писала. Оберег был там и сейчас.

Потом он лёг на лавку, не раздеваясь, и стал смотреть в потолок.

Тридцать два дня до Купалы. Нет, уже тридцать один: за окном перевалило за полночь, он слышал, как на детинце ударили в доску сторожа.

Утром, решил он, он пойдёт к Агапиту за мёдом для горла. Как велел Судимир. Лекарь лечит князю глаза, он бывает в ложнице каждый день. Он может что-то знать. А может – и не знать ничего, но с ним можно поговорить, а пока говоришь, можно и записать. Лекари любят, когда за ними записывают рецепты.

А потом – потом посмотрим.

Он уже засыпал, когда ему вдруг вспомнилось лицо Онфима у порога. Кожемяка кланялся до земли и смотрел так, будто знал. Не мог он знать. Но Ждан всё равно видел этот взгляд, тяжёлый и благодарный, и почему-то от этого взгляда ему стало немного легче.

Перед самым сном он прошептал в темноту, беззвучно, одними губами, то, что всегда шептал, и чего никогда не говорил вслух:

«Мама, я не знаю, что делать».

Ответа не было. Только река шумела за окном, и где-то далеко, на детинце, перекликались сторожа.

Глава 3. Терем

Лекарь Агапит жил в детинце, в пристройке к княжьей поварне, и от его двери всегда тянуло одновременно капустными щами и чем-то горьким, травяным, от чего першило в носу. Ждан постучал рано, ещё до того как ударили к заутрене, и долго ждал. Наконец дверь приоткрылась, и в щели показалось лицо – узкое, смуглое, с тонким горбатым носом и с глазами такими чёрными, что зрачков в них было не разобрать.

– Чего? – спросил лекарь недовольно.

– Судья Судимир прислал. Горло. – Ждан показал на шею и для убедительности кашлянул. Кашель вышел настоящий, лающий, и лекарь поморщился.

– Входи.

Внутри было тесно и душно. Под потолком висели пучки трав, на полках стояли горшки, кувшинчики, склянки тёмного стекла, привозные, дорогие. На столе лежала раскрытая книга с рисунками каких-то корней. Пахло полынью, мятой, воском и чем-то ещё, сладковатым, гнилым, чего Ждан не узнал. Агапит налил в глиняную кружку горячей воды из котелка, бросил туда щепоть сушёных листьев, плеснул мёда из горшка и сунул Ждану.

– Пей. Медленно.

– Благодарствую.

Ждан пил и разглядывал склянки. Лекарь, отвернувшись, перебирал травы на столе и что-то бормотал себе под нос на чужом языке, певучем и быстром. Говорили, мать у него была гречанка, а отец – гостиградский купец, который возил меха в Царьград. Агапит вырос там, учился у тамошних лекарей и вернулся в Гостиград лет пять назад, когда у князя начали болеть глаза. Прежнего лекаря князь прогнал, сказав, что от его примочек только хуже, а Агапита взял.

– А что, князю-то лучше? – спросил Ждан как бы между прочим.

Агапит обернулся. Чёрные глаза на миг стали внимательными.

– Тебе что за дело, писарь?

– Да так. Говорят, побаливают глаза. Судья беспокоится.

– Судья пусть о своих глазах беспокоится. – Лекарь вернулся к травам. – Князю лучше. Капли помогают. Через месяц будет видеть, как сокол.

Ждан не держал пера. Он не мог записать, что лекарь проглотил. Он мог только смотреть на его спину – узкую, напряжённую – и слушать, как тот перестал бормотать.

– Через месяц, – повторил Ждан. – Это к Купале, выходит.

Агапит не ответил.

Ждан допил, поблагодарил, положил на стол медную резану и вышел. Горло, к его удивлению, и правда стало мягче. Хрип никуда не делся, но драть перестало.

Он шёл через двор детинца к судной избе и думал, что сегодня придумает повод вернуться к лекарю с пером. Например, попросить записать, как готовить этот отвар. Лекари любят, когда их рецепты записывают, это знали все.

Но у дверей избы его ждал служка Судимира, молодой рябой парень, и сказал, что сегодня в избу не надо.

– Судья велел тебе в терем идти, – сообщил служка. – К княгине. Там приданое переписывают, ихний писарь заболел, а ключница грамоте не знает. Тебе велено.

– Приданое? – Ждан не понял. – Княгиня уж третий год замужем.

– А я почём знаю? Велено – иди. Судья сказал, чтоб ты ему потом роспись принёс, сам посмотрит.

Ждан постоял, глядя на служку. Потом пожал плечами, взял из избы короб с перьями, чернильницу, пачку берест и чистый пергамент и пошёл к терему.

Княжий терем стоял на самом высоком месте детинца. Внизу, у земли, он был срублен из толстых дубовых брёвен, тёмных, как старая медь. Выше брёвна становились светлее и тоньше, а на самом верху поднимались резные башенки с острыми кровлями, покрытыми осиновым лемехом, который на солнце блестел, как рыбья чешуя. Окна в верхних ярусах были не пузырные, а слюдяные, в свинцовых переплётах, и сквозь них ничего не было видно, только отражалось небо. На крыльце стояли двое гридней в синих свитах. Один из них узнал Ждана, кивнул и пропустил.

Внутри было прохладно и пахло иначе, чем в избе. Не страхом, не воском. Здесь пахло сушёной лавандой, которую, говорили, привезла с собой княгиня, и ещё каким-то незнакомым благовонием, сладким и пряным, от которого слегка кружилась голова.

Ключница, полная немолодая женщина в тёмном повойнике, встретила его у лестницы.

– Ты писарь? Хрипун? – Она оглядела его с ног до головы. – Тощий какой. Ну иди, иди за мной.

Они поднялись по крутой лестнице на второй ярус, прошли длинным переходом, где на стенах висели вышитые полотенца, и оказались в большой светлой горнице. Вдоль стен стояли сундуки – десятка два, не меньше, разных размеров, кованые, расписные, с медными углами. Некоторые были открыты. Из одного свешивался край тяжёлой ткани, тёмно-синей, с серебряной нитью. Из другого торчали меха.

У окна на лавке сидели две девушки и что-то шили. Одна, круглолицая, румяная, подняла голову и с любопытством уставилась на Ждана. Другая не подняла.

– Княгиня приданое пересчитать велела, – объяснила ключница. – Все сундуки. Что пришло из Поморья три года назад, а что за это время прибавилось или убыло. Вот старая роспись, – она сунула Ждану свиток, свёрнутый трубкой, – только написана она по-поморски, и я её не разумею. Ты разумеешь?

Ждан развернул свиток. Письмо было похоже на гостиградское, только буквы чуть угловатее и некоторые слова чужие.

– Разберу.

– Ну и разбирай. Девки тебе помогут, будут вынимать да называть. Я пойду, у меня поварня на руках. Милуша, Неждана – слышали? Помогайте писарю.

Ключница ушла, тяжело переваливаясь, и в горнице стало тихо.

Румяная девушка, Милуша, вскочила с лавки, отложив шитьё, и подошла к первому сундуку.

– С этого начнём? Тут полотно. – Она откинула крышку. – Ой, тут его много.

Ждан сел на свободную лавку, разложил на коленях доску, на доске – пергамент, рядом – бересту. Обмакнул перо.

– Говори, – сказал он.

Работа пошла медленно. Милуша вынимала полотна, разворачивала, называла: «Полотно белёное, локтей двадцать… ещё одно такое… а это с вышивкой, петухи красные…» Ждан записывал, сверялся со старой росписью, ставил пометки. Левая рука почти не шевелилась. У Милуши в голове было пусто и весело, как в весеннем лесу, и несказанное её было мелким, как воробьиный гомон: «Ой, какой он худой», «а глаза у него ничего», «вот бы мне такое полотно». Ждан записывал эти мелочи левой рукой, не глядя, и старался не улыбаться.

Вторая девушка, Неждана, всё это время сидела у окна и шила. Она была тонкая, темноволосая, с косой, перекинутой через плечо, и с бледным, строгим лицом, на котором не было никакого выражения. Ждан несколько раз взглядывал на неё, но она не поднимала глаз.

– А она чего не помогает? – тихо спросил он у Милуши, когда та нагнулась за очередным свёртком.

– Неждана-то? – Милуша хихикнула. – Она немая. Ни слова не скажет, хоть режь. Её княгиня при себе держит, потому что вышивает она лучше всех. А так – тихоня. Не бойся, она слышит. Она всё слышит. Неждана, иди помоги, видишь, писарь один не управится!

Неждана отложила шитьё, встала и подошла. Двигалась она бесшумно, как кошка. Она молча открыла следующий сундук – там лежали меха – и стала вынимать их по одной шкурке, показывая Ждану.

Ждан смотрел на шкурки и писал: «Соболь… ещё соболь… куница…»

И тут левая рука вздрогнула.

Холод пришёл не резко, как вчера с воеводой, а плавно, мягко, как будто он опустил руку в прохладную реку. И левая рука пошла по бересте – быстро, легко, не глубоко, но не останавливаясь.

Ждан скосил глаза.

«Соболей было двенадцать, а осталось девять. Трёх нет с прошлой весны. Я знаю, кто взял, но ты, писарь, не спросишь, а я не скажу».

Он перестал писать правой рукой. Перо замерло над пергаментом.

Неждана держала в руках очередную шкурку и ждала. Она не говорила ни слова. Она не открывала рта. Но левая рука Ждана уже писала дальше:

«Чего уставился? Пиши: соболь. Ты что, тоже немой?»

Ждан медленно поднял глаза. Неждана смотрела на него – прямо, насмешливо, чуть приподняв тонкую бровь.

Он вдруг понял.

Она не говорила. Никогда не говорила. Всё, что она хотела сказать, – вставало у неё на языке и оставалось там, потому что выйти не могло. Всё, что она говорила, было несказанным. Вся её речь. Каждое слово.

И его рука ловила это. Как ловила бы обычную речь, если бы она звучала вслух.

У него закружилась голова. Он двенадцать лет записывал несказанное, и никогда, ни разу оно не было обращено к нему. Люди глотали слова, предназначенные для других, – для судьи, для обидчика, для жены, для Бога. Но не для писаря. Писаря никто не замечал. А эта девушка смотрела на него и говорила – с ним.

– Соболь, – прохрипел он и записал правой рукой.

Неждана кивнула и протянула следующую шкурку. Левая рука побежала:

«Куница. Это куница, а ты записал соболь, я видела. Исправь».

Ждан посмотрел на пергамент. Он и правда записал «соболь» дважды. Он зачеркнул и написал «куница». Руки у него дрожали.

– Ты чего побелел? – спросила Милуша. – Плохо тебе?

– Горло, – сказал Ждан.

– Ой, бедный. Я тебе квасу принесу.

Милуша убежала. В горнице стало совсем тихо. Неждана держала в руках следующую шкурку и смотрела на Ждана, чуть склонив голову набок. Левая рука писала:

«Странный ты. Все писари смотрят на меня, как на лавку. А ты смотришь, как будто я тебе что-то сказала».

Ждан сглотнул. Сказать ей? Нельзя. Никому, никогда. Он знал её всего ничего. Она служанка княгини. Она могла пойти и рассказать – нет, не рассказать, но показать, объяснить знаками, написать…

Нет. Она не знает грамоты. Иначе бы её не держали здесь немой, иначе бы она давно писала.

– Мне показалось, – сказал он хрипло, – ты хотела сказать, что куница. А я записал соболь.

Неждана застыла.

Она смотрела на него долго, не мигая. Лицо её было всё таким же неподвижным, но в глазах что-то изменилось. Левая рука Ждана дёрнулась и написала одно слово, быстро и неровно:

«Как?»

Шаги на лестнице. Милуша вернулась с ковшом квасу, и Неждана тут же отвернулась и принялась вынимать из сундука следующие меха. Ждан выпил квас, не чувствуя вкуса.

Дальше они работали молча. Вернее, молчала Милуша – она вдруг заскучала, начала зевать и наконец отпросилась к ключнице. А Неждана продолжала «говорить». Левая рука Ждана исписала бересту, взяла вторую, третью. Неждана называла меха, полотна, утварь, а между делом – «вот это княгиня ни разу не надевала, говорит, у них в Поморье такое только вдовы носят», «а этот кубок ей брат подарил, она его в сундук спрятала и не смотрит», «тут было два серебряных блюда, теперь одно, а куда второе делось, не знаю, но на кухне его нет». Она не смотрела на Ждана, но он чувствовал, что она проверяет. Она говорила с ним, чтобы понять, слышит ли он. И иногда, назвав вещь, она замирала, будто ждала ответа.

Ждан не отвечал. Он не смел.

Только один раз, когда левая рука вывела «а тебя как звать-то, писарь? Хрипун – это ведь не имя», он не удержался и тихо сказал:

– Ждан.

Неждана выронила серебряную чашу. Чаша звякнула о пол и покатилась. Девушка не стала её поднимать. Она смотрела на Ждана, и губы у неё дрожали.

В этот миг дверь в горницу открылась, и вошла княгиня.

Ждан вскочил, уронил доску, едва успел подхватить чернильницу. Неждана подобрала чашу и отступила к стене, опустив голову.

Княгиня Любава была молода, моложе, чем он думал. Высокая, светловолосая, с длинной шеей и с лицом, которое показалось бы красивым, если бы не было таким усталым. Под глазами у неё лежали тени, губы были плотно сжаты. Одета она была в тёмно-зелёное платье поморского кроя, с узкими рукавами, а на голове – не повойник, а тонкий обруч с подвесками, которые тихо звенели при каждом шаге. За ней шёл мужчина.

Мужчина был широк в плечах, рыжеват, с короткой подстриженной бородой и с лицом, которое, казалось, всегда немного улыбалось. Улыбка была приятная, открытая. Глаза – нет. Глаза были светлые, почти бесцветные, и смотрели куда-то сквозь человека. Ждан догадался, кто это. Збыслав, брат княгини, поморский боярин, живший при гостиградском дворе с её свадьбы.

– Это писарь? – спросила княгиня по-гостиградски, но с сильным поморским выговором. Голос у неё был низкий, глуховатый.

– Писарь судной избы, княгиня, – поклонился Ждан. – Ждан. Судья Судимир прислал.

– Судимир, – повторила княгиня. Что-то мелькнуло у неё в лице и пропало. – Хорошо. Сколько осталось?

– Половина, княгиня. До вечера управлюсь.

– Покажи, что записал.

Ждан протянул пергамент. Княгиня взяла его, пробежала глазами. Збыслав заглянул ей через плечо.

– Хорошая рука, – сказал Збыслав. Голос у него был мягкий, бархатный. – Ровная. Это ты всё один?

– Девки помогали, – ответил Ждан.

– Девки, – Збыслав посмотрел на Нежданy, стоявшую у стены, и улыбнулся шире. – Немая-то тоже помогала? Как же она тебе называла вещи?

– Показывала, – сказал Ждан. – Я сам называл.

– Умно. – Збыслав кивнул. – Сестра, у тебя толковый писарь. Может, оставишь его себе? Твой-то всё болеет.

– Это не мой писарь, а судейский, – сказала княгиня. Она вернула Ждану пергамент. – Продолжай. Когда закончишь, отдашь роспись ключнице. Судимиру отнесёшь список. Пусть знает.

– Что знает, княгиня? – осмелился спросить Ждан.

Княгиня посмотрела на него. Взгляд у неё был тяжёлый, измученный.

– Что всё на месте, – сказала она. – Всё, что моё, – на месте. Князь велел к Купале приданое пересчитать, будут гости из Поморья, пусть видят, что меня тут не обижают. Вот и считай.

Ждан поклонился.

Он держал в правой руке перо – по привычке, не выпуская, – и пергамент. А левая, когда он поднимал пергамент, легла на бересту. Он не собирался писать. Он не вёл запись. Но княгиня говорила, а перо было у него в руке, и рука, видно, решила, что это запись.

Холод. Писало дёрнулось.

Он не посмел опустить глаза.

Збыслав ещё постоял, оглядывая сундуки. Потом взял сестру под локоть.

– Пойдём, Любава. Тебе нельзя уставать. Святша плакать будет.

Княгиня позволила себя увести. У двери она обернулась и ещё раз посмотрела – не на Ждана, а на Неждану. Взгляд был быстрый и непонятный. Потом дверь закрылась.

Ждан медленно опустил глаза на бересту.

Там, под последней строчкой Нежданы – «зачем она сюда пришла, она сюда никогда не ходит», – было написано новое, другим нажимом, коротко:

«Лишь бы не раньше срока. Господи, лишь бы не раньше».

Он перечитал это трижды. «Не раньше срока». Срока чего?

«До Купальской ночи не доживёт».

Ждан почувствовал, как по спине бежит холодок, не похожий на холод дара. Обычный, человеческий страх.

Левая рука снова дёрнулась.

«Что она сказала? Что ты написал? Ты пишешь, что люди не говорят, да? Ты так и меня понял?»

Ждан поднял голову. Неждана стояла перед ним, совсем близко, и смотрела ему в глаза. В её взгляде больше не было насмешки. В нём был страх – и что-то ещё, отчаянное, жадное, как у человека, который долго был в темноте и вдруг увидел щель света.

Он должен был солгать. Должен был сказать: «Не понимаю, о чём ты». Мать сказала: никому, никогда.

Но она ничего не говорила. Она не могла ничего сказать. Ни ему, ни другим. Её речь существовала только на его бересте.

Он медленно кивнул.

Неждана закрыла глаза. Постояла так. Потом открыла, и по её щеке скатилась слеза, одна, быстрая. Она вытерла её тыльной стороной ладони, сердито, как вытирают грязь.

Левая рука писала:

«Семь лет. Семь лет никто меня не слышал. Ты понимаешь, писарь? Ждан. Семь лет».

– Понимаю, – прошептал он.

«Не понимаешь. Но всё равно спасибо. – Пауза. Рука замерла и потом пошла дальше, медленнее: – Она боится. Княгиня. Она каждую ночь не спит. А брат её к лекарю ходит, к греку. Я видела. И к Судимиру твоему ходит. Тоже видела».

Шаги на лестнице. Тяжёлые, ключницыны. Неждана отпрянула, схватила с лавки шитьё и села у окна, будто никуда не вставала.

– Ну что, писарь, далеко ли? – Ключница вошла, отдуваясь. – Милуша говорит, ты совсем плох. Не помрёшь тут у нас?

– Не помру, – сказал Ждан. – Управлюсь к вечеру.

Он управился к вечеру. Неждана больше не подходила. Она шила у окна, не поднимая головы, и Ждан не знал, чего хочет больше – чтобы она подошла или чтобы не подходила. Сундуки он дописывал с ключницей, которая называла всё не так и путала соболей с белкой.

Три соболя, одно серебряное блюдо и две нитки жемчуга так и не нашлись. Ждан записал это в роспись, чётко, без пометок. Ключница вздохнула и сказала, что так и было, а куда делось – не её ума дело.

Когда он уходил, уже смеркалось. В переходе пахло лавандой. У лестницы он оглянулся. Неждана стояла в дверях горницы и смотрела ему вслед.

Он не держал пера, и левая рука ничего не писала. Он не знал, что она хотела сказать.

Но ему показалось – он почти услышал.

Глава 4. Корчма у перевоза

Судимир жил не в детинце, как другие судьи, а внизу, на Торгу, в высоком доме с резными наличниками и с садом за глухим забором. Говорили, что князь не раз предлагал ему двор поближе к терему, а Судимир отказывался: старому человеку, мол, нужен сад, а в детинце сада не разведёшь. Сад у него и правда был знатный – яблони, вишни, малина вдоль забора, а посередине маленький пруд, где плавали жирные ленивые караси. Судимир сам их кормил по утрам, кроша хлеб с мостков.

Там Ждан его и нашёл на следующее утро, с росписью приданого под мышкой.

– А, – сказал старик, не оборачиваясь. – Принёс. Положи на скамью. Садись.

Ждан положил свиток и сел на край скамьи. Скамья была мокрая от росы. Судимир крошил хлеб, караси толкались у мостков, хватали крошки, плескали хвостами. Солнце только поднялось над Заречьем, и вода в пруду была золотая.

– Всё сошлось? – спросил Судимир.

– Не всё. Трёх соболей нет, блюда серебряного и двух ниток жемчуга.

– Записал?

– Записал.

– Хорошо. – Судимир бросил последнюю крошку, отряхнул ладони и повернулся. Лицо у него было свежее, спокойное, глаза ясные. Он сел рядом со Жданом, взял свиток, развернул, пробежал глазами. – Ровно. Хорошо. Княгиня видела?

– Видела. И брат её.

– Збыслав? – Судимир поднял бровь. – Что он там делал?

– С княгиней пришёл. Хвалил руку.

– Руку твою все хвалят. – Старик свернул свиток. – Тебе бы, Ждан, книги переписывать, а не мясников с кожемяками. В монастырь бы тебя, на Бор. Там у них писцов мало, игумен жалуется.

– Не хочу в монастырь.

– Знаю. – Судимир улыбнулся. – Тебе людей подавай. Живых, кричащих, врущих. Как матери твоей.

Ждан вздрогнул. Судимир очень редко говорил о матери. За все десять лет – может быть, раза три. И каждый раз вот так – мимоходом, будто случайно.

– Она тоже любила людей, – продолжал Судимир, глядя на пруд. – Писала им письма. За гроши. Могла бы богатой быть, если б брала, сколько стоит её рука. А брала, сколько дадут. Гончариха ей горшок, рыбак – рыбу. Ты на неё похож.

– Судья, – сказал Ждан. – Можно спросить?

– Спроси.

Ждан помолчал. Он всю ночь думал, как сказать. И ничего не придумал.

– Если бы человек… писарь, например… услышал что-то. Случайно. Что-то худое. Про князя. И не знал бы, правда это или пустое. Что бы ему делать?

Судимир не пошевелился. Он сидел, сложив руки на коленях, и смотрел на воду. Караси разошлись, пруд успокоился, и в нём отражались яблони.

– Худое про князя, – медленно повторил старик. – Где услышал?

– Я не говорю, что услышал. Я говорю – если бы.

– Если бы. – Судимир кивнул. – Тогда я бы этому писарю сказал вот что. Про князя, Ждан, всегда говорят худое. Всегда. В корчмах, на торгу, в гриднице, в бане. Говорят, что князь скуп. Что жесток. Что жену бьёт. Что сын у него пьяница. Что глаза у него слепнут, и скоро он ни меча не увидит, ни ложки. Говорят, что Перемиль на нас идёт. Что поморцы нас купить

хотят. Ты знаешь, сколько я такого слышал за сорок лет при дворе? Если бы я на каждое слово бежал к князю, он бы меня сам повесил – за то, что надоел.

– А если это не пустое?

– А если не пустое, – Судимир повернул к нему голову, и глаза его из-под тяжёлых век были ясные, внимательные, – то это дело воеводы, тысяцкого, дружины, а не писаря. Писарь – рука. Рука пишет, что ей скажут. Рука не думает. Когда рука начинает думать, Ждан, её отрубают. Я это видел. И ты это видел.

Ждан молчал. Ему стало холодно, хотя солнце уже пригревало.

– Я тебя учил десять лет, – сказал Судимир мягче. – Я тебя не для того учил, чтобы ты пропал за какую-то сплетню. Ты хороший писарь. Лучший в Гостиграде. У тебя ещё вся жизнь впереди. Женишься, дом построишь, детей грамоте научишь. Не лезь в дела двора. Двор – это болото. Оно засасывает и правых, и виноватых, а выплёвывает только кости.

– А воевода? – вырвалось у Ждана. – Если воевода знает и молчит?

Судимир посмотрел на него долгим взглядом. Очень долгим. Ждан почувствовал, как краснеет, и опустил глаза.

– Воевода, – сказал наконец старик, – служит князю двадцать лет. Он трижды спасал ему жизнь в бою. Он потерял за князя брата. Если ты что-то слышал про воеводу, Ждан, – выкинь из головы. Это дурная сплетня, и пустил её дурной человек. А если будешь повторять – станешь дурным человеком сам.

Он встал, тяжело опираясь на колени. Взял свиток.

– Иди в избу. Сегодня много дел. И пей Агапитов отвар, голос у тебя – как у вороны.

Ждан встал, поклонился и пошёл к калитке. У самой калитки он обернулся. Судимир стоял на мостках у пруда, со свитком в руке, и смотрел ему вслед. Лицо у него было спокойное. Только пальцы, державшие свиток, сжимались и разжимались, будто старик мял в руке что-то невидимое.

Весь день в избе Ждан писал как во сне. Межевые споры, долги, побои, кражи. Левая рука подбирала обычный мусор, и он почти не смотрел на бересту. Он думал о Судимире.

Старик сказал разумные вещи. Очень разумные. Каждое слово было правильным. И всё же… «Дурная сплетня, и пустил её дурной человек». Ждан ни словом не обмолвился, что сплетня – про воеводу и князя вместе. Он сказал: «Если воевода знает и молчит». Про что знает – не сказал.

А Судимир сразу понял, что про измену. Будто знал, о чём речь.

Или просто был умён. Судимир всегда был умён.

После полудня, когда в избе наступило затишье, Ждан сел за роспись для воеводы. Работа была скучная: перебрать берестяные связки с делами за последние три года и выписать всех молодых мужиков из посадов, кто был под судом за долги или за разбой. Он сидел в клети, при открытой двери, среди пыли и мышиного запаха, и разворачивал связку за связкой.

Долговых было много, и почти все – с Заречья. Кожемяки, перевозчики, бондари. Ждан выписывал имена ровным столбцом и вдруг заметил то, чего раньше не замечал. Почти за каждым долгом в последний год стоял один и тот же заимодавец – купец Гудим, торговавший воском и мёдом. Гудим давал в рост охотно и много, и долги прощал тоже охотно, если должник соглашался на что-нибудь. На что – в записях не было. Было только: «Долг прощён по уговору». Восемь раз за зиму. Двенадцать – за весну.

Ждан отложил связку и задумался. В Гостиграде все знали, что купцы в долг дают не по доброте. Но прощать долги дюжинами – этого не делал никто. Если только кто-то другой не платил за должников.

Он вспомнил, где слышал имя Гудима. На прошлой седмице, на суде о сгоревшем амбаре, Гудим свидетельствовал, и левая рука Ждана тогда подобрала за ним короткое: «Поморское

серебро не пахнет». Ждан тогда не понял и забыл. Теперь он нашёл ту бересту в рукаве вчерашнего кафтана – он не успел убрать её в короб – и перечитал. «Поморское серебро не пахнет».

Он выписал всех, кому Гудим простил долги, на отдельную бересту. Двадцать человек. Все молодые, все с Заречья, все крепкие – кожемяки да перевозчики. Двадцать человек, которые кому-то обязаны.

Он не знал, что это значит. Может быть, ничего. Может быть, купец просто замаливал грехи перед Купалой. Но бересту он спрятал не в короб, а за пазуху, к той, что с воеводой.

Вечером, когда изба опустела, Ратша зашёл за ним, как обещал.

– Ну что, пошли наконец в корчму? – спросил он с порога. – Я сегодня из сторожи сменился, свободен до утра. Пошли, писарь, я тебя сегодня не отпущу.

– Пошли, – сказал Ждан. – Только в какую?

– Да в «Кривую утку», куда ж ещё.

– А к перевозу не хочешь? К Мокею?

Ратша поморщился.

– К Мокею? Там же одни перевозчики да купцы проезжие. Пиво кислое. Чего тебя туда понесло?

– Соскучился по кислому.

Ратша посмотрел на него внимательно. Потом пожал плечами.

– Как знаешь. К Мокею так к Мокею.

Корчма Мокея стояла у самого перевоза, на гостиградском берегу Сежи, под обрывом. Это была длинная приземистая изба, наполовину вкопанная в склон, с дерновой крышей, на которой росла трава и паслась хозяйская коза. Внутри было темно, дымно и шумно. Пахло рыбой, пивом, мокрыми сапогами. За длинными столами сидели перевозчики, лодочники, приезжие торговцы с узлами, какие-то мутные люди в надвинутых на глаза шапках. Сам Мокей, лысый и одноглазый, разливал пиво из бочки и ругался со всеми сразу.

Ждан выбрал место в углу, у стены, откуда был виден весь зал и дверь. Ратша принёс две кружки пива, хлеба и копчёного леща.

– Ну? – сказал он, садясь. – Рассказывай.

– Что?

– Ждан. Я тебя двадцать лет знаю. Ты в корчму к Мокею просто так не пойдёшь, ты и в «Утку»-то раз в год ходишь. Чего мы тут ждём?

Ждан отпил пива. Оно и правда было кислое.

– Воевода здесь бывает?

Ратша замер с куском леща на полпути ко рту.

– Твердята? – переспросил он тихо. – А тебе на что?

– Бывает или нет?

– Бывает. – Ратша положил леща. – Он тут с перевозчиками говорит, когда надо кого через реку переправить по-тихому. Лазутчиков в Перемиль, гонцов. Это все знают. А что?

Ждан помолчал. Потом наклонился через стол.

– Ратша, я тебе скажу одну вещь. Только ты не спрашивай, откуда я знаю. Можешь?

– Не знаю, – честно сказал Ратша. – Скажи сначала.

– Вчера в избе воевода обмолвился. Не прямо. Так, что никто не понял. Я понял. Он знает, что кто-то хочет князю зла. К Купале. И он не собирается мешать.

Ратша смотрел на него, не мигая. Веснушки на его лице стали заметнее – он побледнел.

– Обмолвился, – повторил он. – Как обмолвился?

– Ратша, ты обещал не спрашивать.

– Я ничего не обещал. Ждан, ты понимаешь, что говоришь? Он мой воевода. Я ему крест целовал. Он меня в гридницу взял, когда меня из-за отца все гнали. Он… – Ратша замолчал, сжал кулаки на столе. – Ты мог не так понять.

– Мог, – сказал Ждан. – Поэтому я и хочу посмотреть, с кем он встречается.

Ратша долго молчал. Потом взял кружку и залпом выпил половину.

– Если ты не так понял, – сказал он, вытирая губы, – я тебе нос сломаю. По-дружески.

– Договорились.

Они ждали долго. Пиво кончилось, Ратша сходил за вторым, потом за третьим. Корчма гудела. За соседним столом двое купцов спорили о цене на воск. В дальнем углу перевозчики играли в зернь, и время от времени оттуда доносился рёв, то радостный, то злой. Мокей ругался. Коза на крыше блеяла. Ждан смотрел на дверь.

Твердята пришёл, когда уже совсем стемнело.

Он вошёл, как вчера в избу, – не пригибаясь. На нём был тот же серый плащ, только фибулу с волчьей головой он снял, и плащ был заколот простой медной булавкой. Шапку он надвинул на лоб. Но не узнать его было нельзя: рост, плечи, походка. Корчма на миг притихла – кто-то из перевозчиков его узнал, – а потом загудела снова, ещё громче, чем прежде, как гудят люди, которые очень стараются не смотреть.

Ратша втянул голову в плечи и уткнулся в кружку.

Твердята прошёл через весь зал к дальнему столу у очага, где сидел один-единственный человек. Ждан его раньше не заметил – человек сидел в тени, спиной к залу, закутанный в тёмный плащ с капюшоном. Когда воевода сел напротив, человек откинул капюшон, и Ждан увидел бритую макушку с венчиком редких волос, длинное постное лицо, жидкую бородку.

Монах.

– Это кто? – шёпотом спросил Ждан.

Ратша осторожно поднял глаза, посмотрел.

– Не знаю, – сказал он. – Чернец какой-то. С Бора, наверное. Там монастырь Спаса, у них, говорят, земли больше, чем у князя.

Ждан смотрел на монаха и на воеводу. Они говорили тихо, склонившись друг к другу. Слышно ничего не было – слишком шумно, слишком далеко. Монах что-то объяснял, разводя руками. Воевода слушал, неподвижный, как камень. Потом монах достал из-за пазухи что-то – маленький свёрток – и положил на стол. Твердята не взял. Он смотрел на свёрток, как на змею.

Ждан потянулся к поясу. Там, в кошеле, у него всегда лежали писало и пара берестяных обрезков. Он не знал, сработает ли дар, если записывать с такого расстояния, не слыша слов. Никогда не пробовал. Но надо было попробовать.

Он положил бересту на колено под столом, взял писало в левую руку, а правую, с угольком, поднёс к столешнице – будто машинально чертил что-то на доске.

– Ты чего? – удивился Ратша.

– Тихо.

Он начал записывать. Правой рукой, угольком, на столешнице – то, что видел, а не слышал: «Воевода. Монах. Свёрток». Он не слышал речи. Он не знал, что они говорят.

Левая рука не шевелилась.

Ждан ждал. Сердце колотилось. Монах говорил, воевода молчал. Потом воевода что-то коротко ответил. Монах покачал головой и подвинул свёрток ближе.

Ничего. Левая рука лежала мёртво.

Ждан понял: так не работает. Ему нужно слышать. Нужна речь – живая, звучащая, та, которую он записывает. Без речи нет и несказанного.

Он стёр рукавом уголь со столешницы и спрятал бересту.

– Надо подойти ближе, – прошептал он.

– С ума сошёл? – Ратша вцепился ему в рукав. – Он тебя узнает. Он меня узнает. Ждан, сиди.

– Он меня не помнит. Он вчера на меня смотрел, как на лавку.

– А на меня – как на своего гридня, которого он сам взял. Сиди, говорю!

Ждан сидел. Он смотрел, как монах подвигает свёрток к воеводе, как воевода, помедлив, накрывает его ладонью – не берёт, а просто кладёт руку сверху, будто прижимает, чтобы не уполз. Как монах встаёт, натягивает капюшон и уходит, не оглянувшись. Как воевода остаётся сидеть у очага, один, с рукой на свёртке.

Он сидел так долго. Мокей принёс ему кружку, он не притронулся. Огонь в очаге осел, и лицо воеводы оказалось в тени, только шрам от брови до уха поблёскивал, как мокрый.

Потом он встал, спрятал свёрток за пазуху и пошёл к двери.

На полпути он вдруг остановился. Повернул голову. И посмотрел прямо в угол, где сидели Ждан и Ратша.

Ратша перестал дышать. Ждан почувствовал, как у него немеют пальцы, – не от дара, от страха.

Воевода смотрел долго. Потом медленно подошёл к их столу.

– Ратша, – сказал он. Голос был ровный.

– Воевода, – Ратша вскочил, едва не опрокинув скамью.

– Ты из сторожи сменился?

– Сменился, воевода.

– Пьёшь?

– Пью, воевода.

– Пей. – Твердята перевёл взгляд на Ждана. Взгляд был такой же, как вчера, – тяжёлый, равнодушный. Потом в нём что-то шевельнулось. – Ты писарь. Из судной избы. Хрипун.

– Я, воевода.

– Что ты тут делаешь?

– Пиво пью, воевода.

– У Мокея? Писарь из судной избы пьёт у Мокея?

– С другом, – Ждан кивнул на Ратшу. – Он позвал.

Твердята перевёл взгляд на Ратшу. Тот стоял навытяжку, красный, как рак.

– Я позвал, воевода, – сказал Ратша. – Мы с ним с детства. Он пива не пьёт почти, так я его вытащил.

Твердята помолчал. Потом кивнул.

– Роспись мне когда будет? – спросил он у Ждана.

– К концу седмицы, воевода.

– Раньше. Через три дня. Мне сотню собирать.

– Сделаю.

Воевода ещё раз посмотрел на него. Потом повернулся и вышел, не оглядываясь. Дверь хлопнула. Коза на крыше испуганно заблеяла.

Ратша медленно сел.

– Ну, – сказал он, – теперь он меня точно запомнил. Ждан, если ты зря всё это…

– Не зря, – сказал Ждан.

– Что там было, в свёртке?

– Не знаю.

– А монах кто?

– Не знаю. Узнаю.

Ратша долго смотрел на него. Потом протянул руку, взял свою кружку, отпил, поставил.

– Ты знаешь, что я тебе скажу, писарь? – тихо сказал он. – Ты никогда не умел врать. В детстве не умел и сейчас не умеешь. Ты мне что-то не договариваешь. Ладно. Не хочешь – не говори. Но если он, – Ратша кивнул на дверь, – и правда… если и правда князю зло готовят, а он знает…

Он не договорил. Сжал кружку так, что побелели пальцы.

– Я ему крест целовал, – сказал он. – Понимаешь? Крест. А князю – дважды. Как мне быть, если они друг против друга?

– Не знаю, Ратша.

– И я не знаю. – Ратша допил пиво. – Пошли отсюда. Тут кисло.

Они вышли в темноту. Над Сежей висел туман, белый, густой, и сквозь него едва проступали огоньки Заречья. Перевоз стоял на приколе, паромщик спал в шалаше на берегу, слышно было, как он храпит. Пахло рекой, тиной, сырым деревом.

Они поднимались по тропе к Гончарному концу, когда Ждан вдруг остановился.

– Ратша. Ты знаешь, кто в монастыре на Бору сейчас игумен?

– Феогност, – сказал Ратша. – Толстый такой. Он к князю на пиры ходит. Его Судимир любит, они вместе в шахматы играют.

– Судимир? – переспросил Ждан.

– Ну да. Я сам видел, в гриднице. Сидят, двигают фигурки, и ни слова. По часу. Я ещё подумал – вот же два старых пня, им бы на печку, а они в шахматы. А чего?

– Ничего, – сказал Ждан.

Они пошли дальше. Туман поднимался от реки, полз по склону, закрывал дома, заборы, тропу. Ждан шёл и думал о старике у пруда, который кормит карасей и советует не лезть в дела двора. И о его пальцах, которые сжимались и разжимались на свитке.

Глава 5. Глаза князя

Раз в месяц, в первый четверг после новолуния, князь Мстивой судил сам.

Так было заведено ещё при его деде, князе Ярополке, и при отце, Горде. В этот день в гриднице ставили княжье кресло на возвышении, покрытое медвежьей шкурой, по обе стороны – скамьи для бояр, а у подножия – стол для писаря. Приходили те, кто был недоволен судом судной избы, кто просил милости, кто тягался с боярами или с монастырём – с теми, кого простой судья судить не смел. Народу набивалось столько, что гридни стояли вдоль стен в два ряда и древками копий отодвигали самых напористых.

Писарем на княжьем суде всегда сидел Судимир. Но в этот четверг старик с утра прислал служку: колено разболелось, пусть пишет Ждан, а он сам сядет рядом, на скамью, и будет подсказывать.

Ждан шёл в гридницу, и у него сосало под ложечкой. Он никогда не писал за князем. Никогда не видел его вблизи – только на берегу, двенадцать лет назад, и потом издали, на пирах и на выездах. И ещё он знал, что сегодня там будут все: воевода, бояре, игумен, княгиня с братом. Все, о ком он думал последние дни.

Гридница была огромная, длинная, с закопчёнными балками под потолком и с узкими окнами под самой кровлей. Вдоль стен висели щиты, рогатины, старые знамёна, потемневшие от дыма. Пахло жареным мясом, которое не выветривалось отсюда никогда, потом, дёгтем и ладаном – игумен Феогност всегда приходил с кадильницей и, пока ждал, помахивал ею, будто ненароком.

Ждан сел за писарский стол у подножия возвышения. Разложил пергамент, перья, чернила. Бересту – слева, под рукой.

Судимир опустился на крайнюю скамью, совсем рядом, вытянув больную ногу. Он кивнул Ждану, и Ждан кивнул в ответ.

Потом все встали, потому что вошёл князь.

Мстивой Гордятич был невысок, но так широк в плечах и так прям, что казался выше всех в гриднице. Волосы у него были тёмные, с проседью, подстриженные в скобку, борода – короткая, жёсткая. Лицо – то самое, вырезанное из дерева, которое Ждан запомнил на берегу. Только теперь от носа к углам рта легли глубокие складки, а кожа под глазами потемнела. Он шёл быстро, твёрдо, не глядя по сторонам, и опустился в кресло так, будто садился на коня.

За ним вошли княгиня – бледная, в тёмном – и Збыслав. Потом воевода Твердята, который встал у правого плеча князя, положив руку на меч. Потом ещё бояре. Игумен Феогност, тучный, рыхлый, в чёрной рясе, с огромным крестом на брюхе, устроился на скамье напротив Судимира и кивнул ему, как старому знакомому.

И последним – Агапит. Лекарь встал у стены за креслом князя, в тени, сложив руки, и Ждан заметил, что у него на поясе висит маленький кожаный мешочек.

– Начинай, – сказал князь.

Голос у него был громкий, хрипловатый, привычный перекрывать шум битвы.

Первым вышел мужик из-под Звенигорья, жаловался на боярского тиуна, который забрал у него корову за недоимку, а недоимки не было. Князь выслушал, спросил двоих свидетелей, кивнул: корову вернуть, тиуна – высечь. Боярин, чей был тиун, сидел на скамье и молчал, только побагровел.

Ждан писал. Левая рука подбирала: у мужика – «спаси тебя бог, княже», у боярина – «запомню». Ничего особенного.

Второе дело – вдова просила за сына, проданного в холопы за отцовский долг. Князь подумал, спросил, сколько долга. Велел выкупить из казны, а вдове – служить полгода на княжьем дворе в поварне. Вдова заплакала, бросилась в ноги. Князь махнул рукой, и её увели.

Третье дело было большое. Монастырь Спаса на Бору тягался с общиной села Ольшаны за луг на речке Ольшанке. Луг был заливной, богатый, на нём ставили по сто копен сена. Монастырь говорил, что луг ему завещал боярин Тудор тридцать лет назад, и показывал грамоту. Общинники говорили, что луг испокон веку их, что боярин Тудор никакого луга не имел, а грамота – ложная.

Игумен Феогност сам встал говорить. Говорил он сладко, нараспев, как проповедь. О благочестии покойного боярина, о молитвах иноков, о сиротах, которых монастырь кормит этим сеном. Потом вышли общинники – трое старших, бородатые, с корявыми руками, в лаптях. Говорили неумело, перебивая друг друга. Старший, дед Лаврин, всё время повторял: «Наш луг, княже, наш, ещё деды косили».

Ждан писал, и рука его бегала по пергаменту, едва поспевая. Левая тоже работала. У игумена несказанное было скользкое и жирное, как он сам: «С этим лугом – сорок гривен в год», «пусть только попробует отказать». У деда Лаврина – отчаянное: «Если отберут, зимой скотину резать придётся, а детей кормить нечем».

– Грамоту, – сказал князь.

Феогност подал ему свиток. Князь развернул его, поднёс к глазам.

И Ждан, сидевший внизу, под самым возвышением, увидел то, чего, наверное, не увидел больше никто.

Князь поднёс свиток слишком близко. На ладонь от лица. Потом чуть отодвинул. Потом снова приблизил. Глаза его, тёмные, сощурились, на лбу выступили морщины. Он смотрел на грамоту, и Ждан видел, как он моргает – часто, быстро, будто в глаза ему попал песок.

– Ну? – сказал князь громко. – Что здесь? Читай, писарь.

Он бросил свиток вниз, Ждану на стол. Это было так резко, что игумен вздрогнул.

Ждан развернул. Прочитал вслух – хрипло, с усилием, громко, как только мог: «Се аз, боярин Тудор, Вышатин сын, даю монастырю Спаса на Бору луг свой на Ольшанке…» Читал, а сам смотрел на пергамент. Почерк был старый, ровный. Чернила – тоже старые, порыжевшие. Но вот здесь, в слове «луг», и вот здесь, в «Ольшанке», чернила были чуть темнее. Чуть-чуть. Если не знать, куда смотреть, – не заметишь.

Он дочитал и поднял голову. Князь сидел, опустив подбородок на кулак, и смотрел в пустоту.

– Добро, – сказал князь. – Грамота есть, а у вас, мужики, грамоты нет. Луг – монастырю.

Дед Лаврин охнул. Общинники зашумели. Гридни у стен качнули копьями.

– Княже, – сказал вдруг Ждан.

Он не собирался этого говорить. Совсем не собирался. Слово вылетело само, как птица из клетки, и он тут же пожалел.

В гриднице стало тихо. Все повернулись к писарскому столу. Судимир, сидевший рядом, медленно открыл глаза.

– Что? – спросил князь. Он смотрел на Ждана, но взгляд его был странный – будто он смотрел не на него, а на пятно, где он сидит.

– Для записи, княже, – прохрипел Ждан. Голос подвёл, сорвался, и пришлось начать снова. – Для записи. В грамоте два слова писаны иными чернилами. Луг и Ольшанка. Остальное старое. Это для записи надо отметить. Чтобы потом, если спор пойдёт…

Игумен Феогност побагровел. Он вскочил со скамьи, крест на его брюхе закачался.

– Кто смеет? Писарь? Холоп судейский? Княже, грамоту эту сам покойный…

– Сядь, – сказал князь.

Феогност осёкся. Сел.

Князь долго молчал. Он смотрел на Ждана – или на то пятно, где Ждан сидел, – и лицо у него было непроницаемое, деревянное.

– Иными чернилами, – повторил он наконец. – Покажи.

Ждан встал, взял свиток и поднялся на возвышение. Он поднёс грамоту к князю, держа её на вытянутых руках. Князь посмотрел. Ждан видел совсем близко его глаза – тёмные, с красными прожилками на белках, с мутной плёнкой поверх зрачков, будто их затянуло тонким ледком. Князь смотрел на грамоту и не видел её. Ждан понял это так ясно, будто ему сказали.

Он опустил левую руку на бересту, которую держал под свитком. Он сделал это машинально, как делал тысячи раз. Князь говорил, а Ждан вёл запись. Значит, рука могла.

– Вижу, – сказал князь. – Темнее. Добро.

Холод. Рука пошла.

– Суд мой такой, – князь откинулся в кресле. – Луг остаётся за Ольшанами до Покрова. До Покрова игумен пусть найдёт мне живых свидетелей, что луг Тудоров был. Найдёт – отдам. Не найдёт – грамоту сожгу, а с того, кто её правил, спрошу. Писарь, пиши.

Ждан спустился и сел. Взял перо. Записал приговор.

Потом скосил глаза на бересту, которую держал под свитком, на возвышении.

Там было написано, коротко и неровно, тем давящим, глубоким нажимом, каким пишется только самое тяжёлое:

«Не вижу. Ничего не вижу. Лиц не вижу. Писаря не вижу, пятно одно. Никто не должен знать. Никто. Ни Любава, ни Борька, ни воевода. Узнают – сожрут».

Ждан сидел, не в силах поднять голову. Пальцы его онемели. Горло драло так, что хотелось кашлять, но он не смел.

Князь слепнет. Князь знает, что слепнет, и скрывает это от всех. От жены, от сына, от воеводы. Он сидит на княжьем суде и судит людей, которых не видит, по грамотам, которые не может прочитать.

И никто – никто – не замечает.

Нет. Не никто.

Ждан медленно поднял глаза и посмотрел на лекаря.

Агапит стоял за креслом, в тени, как и прежде. Но он смотрел на Ждана. Чёрными, непроницаемыми глазами. И в его лице было что-то новое – настороженность. Как у кошки, которая заметила мышь, но ещё не решила, стоит ли прыгать.

Суд пошёл дальше. Ещё дела, мелкие. Ждан писал, почти ничего не понимая. Князь решал быстро, коротко, иногда невпопад. Ждан теперь видел то, чего не видел раньше: князь никогда не смотрел в лицо тем, кто говорил. Он смотрел в сторону. В пол. На стену. Он судил на слух. Только на слух.

Потом вышел поморский купец, кормчий с ладьи, которая стояла у гостиградской пристани с самой весны. Он жаловался, что мытники берут с поморских ладей вдвое против перемильских, и просил князя рассудить. Говорил он по-поморски, и Збыслав встал, чтобы перевести.

Поморец переводил гладко, без запинки, и, переводя, всё время улыбался – то князю, то боярам, то купцу. Голос у него был приятный, бархатный, и слушать его было легко. Ждан записывал перевод правой рукой и ждал, что подберёт левая.

Левая подобрала многое.

«Ещё месяц терпеть этот хлев». «Кормчий – дурак, нашёл, когда жаловаться, лишнее внимание к ладье». «Ничего, после Купалы мыт будет мой». «Старый пень опять в сторону смотрит. Ослеп, как крот, а всё сидит».

Последнее Ждан перечитал дважды, не поднимая головы. Значит, Збыслав знает. Князь думает, что никто не знает, а брат княгини знает.

– Мыт уравнять, – сказал князь, выслушав. – С поморских – как с перемильских. Мытнику – сказать, что я велел.

– Благодарим, княже, – Збыслав поклонился низко, почтительно. Купец закивал, не понимая, за что благодарят.

Ждан записал решение и, подняв голову, поймал взгляд княгини. Любава сидела на своей скамье, прямая, бледная, и смотрела не на князя, не на брата, а на писарский стол. На его левую руку, лежащую на бересте. Смотрела пристально, будто что-то считала. Потом она отвернулась, и Ждан так и не понял, что она видела.

Следом шло дело о краже мёда из бортей – мелкое, пустое. Бортник клялся, что вор – соседский мальчишка, мальчишкин отец клялся, что бортник сам продал мёд и теперь врёт. Князь слушал, отвернув лицо к окну, и Ждан теперь понимал, почему он отворачивается. Свет из окна падал ему на щёку, и князю, видно, легче было различать пятна света, чем пятна лиц.

– Мальчишку не трогать, – решил князь. – Бортнику – бортей не ставить у межи. Следующий.

Это был справедливый суд, подумал Ждан. Справедливый – и слепой. Князь угадывал на слух, по голосам, по тому, как люди запинаются и как дышат. Он угадывал хорошо, лучше многих зрячих судей, которых Ждан видел в избе. Слепота, видно, научила его слушать так, как не умеют слушать люди, привыкшие верить глазам. Но долго ли можно так угадывать? И что будет, когда кто-нибудь, кроме Збыслава, тоже заметит? Князь, который не видит, не удержит ни меча, ни бояр. Это знали все. Потому он и молчал.

Потом в гридницу вошёл Борислав.

Княжич появился в дверях посреди дела о сломанной мельнице, и все головы повернулись к нему. Он был высок, светловолос, в мать – первую княгиню, умершую родами, – с красивым, слегка опухшим лицом и с блестящими глазами. На нём была дорогая алая свита, расстёгнутая на груди, и от него за десять шагов несло медовухой. Он шёл через гридницу, чуть пошатываясь, и улыбался во весь рот.

– Отец, – сказал он громко. – Прости, опоздал. Делами занят был.

Кто-то из бояр хихикнул и тут же умолк.

– Какими делами? – спросил князь, не поворачивая головы. Он смотрел на мельника.

– Государственными, – сказал Борислав и рыгнул.

Теперь засмеялись многие. Княжич улыбнулся ещё шире, поклонился смеющимся, приложив руку к сердцу, и плюхнулся на скамью рядом с Збыславом. Поморец отодвинулся, брезгливо подобрав полу плаща.

Князь продолжал смотреть на мельника. Лицо его не изменилось. Только пальцы, лежавшие на подлокотнике кресла, впились в медвежью шкуру.

– Продолжай, – сказал он мельнику.

Мельник, заикаясь, продолжал.

Когда суд кончился, князь встал и, не глядя ни на кого, вышел через заднюю дверь. За ним сразу двинулся Агапит. Ждан, собирая пергаменты, видел, как в дверях лекарь на миг задержался и достал из мешочка на поясе маленькую склянку тёмного стекла.

– Сейчас будут капли, – сказал над ухом Судимир. – Каждый день после суда. Говорит, от напряжения глазам хуже.

Ждан вздрогнул. Он не заметил, как старик встал.

– Ты сегодня, Ждан, опять разговорился, – сказал Судимир тихо. – Я тебе что говорил?

– Говорил, рука не должна думать.

– А ты?

– Она не думала, судья. Она видела. Чернила разные.

Судимир помолчал. Он смотрел на Ждана, и лицо его было, как всегда, спокойное.

– Ты понимаешь, что сделал игумена врагом? – спросил старик. – Феогност не прощает. У него длинные руки.

– Он лжёт, судья.

– Все лгут, Ждан. Монастырь лжёт, общинники тоже лгут, наверное. Это не твоё дело. Твоё дело – писать.

Он взял свою палку и, прихрамывая, пошёл к выходу. Игумен Феогност ждал его у двери. Они вышли вместе, и Ждан видел, как игумен что-то сердито говорит, размахивая руками, а Судимир кивает, мягко, успокаивающе, положив ладонь ему на локоть.

– Эй, писарь.

Ждан обернулся. Борислав стоял над его столом, покачиваясь, и смотрел сверху вниз. Глаза у него были пьяные, но в глубине их было что-то трезвое и острое.

– Это ты про чернила сказал? – спросил княжич.

– Я, княжич.

– Смелый. – Борислав улыбнулся, но улыбка вышла кривой. – Отец смелых любит. Пока они живы.

Он хлопнул Ждана по плечу и, насвистывая, пошёл к выходу. Ждан смотрел ему вслед.

Гридница пустела. Слуги убирали скамьи, гасили светильники. Ждан сложил пергаменты в короб, бересты – в рукав. Ему нужно было отнести запись в судейскую клеть. Но он задержался.

Через заднюю дверь, ту, в которую вышел князь, был виден короткий переход и лестница наверх, к ложнице. На лестнице было пусто. Потом сверху послышались шаги, и по ступенькам спустился Агапит. Лекарь нёс в руке склянку. Он остановился у подножия лестницы, повертел склянку на свет, посмотрел, сколько осталось.

Ждан, сам не зная зачем, взял перо, обмакнул и сделал вид, что дописывает что-то в пергаменте. Левая рука легла на бересту.

Внизу у лестницы Агапит что-то сказал. Тихо, по-гречески, себе под нос. Ждан не понимал по-гречески ни слова. Но он записывал: правая рука выводила чужие звуки, как слышала, буквами, без смысла.

Холод.

Левая рука поползла. Медленно, неуверенно. Несказанное, кажется, не знает языков. Оно приходит к руке готовым, словами, понятными тому, кто пишет.

«Ещё три седмицы капель. И довольно. Потом сам. Сам упадёт, и никто не спросит».

Агапит спрятал склянку в мешочек и пошёл по переходу. Мимо задней двери гридницы. Мимо Ждана, сидевшего за столом. Он не повернул головы, не взглянул. Но Ждан видел, как дрогнули у него ноздри – тонкие, хищные, будто лекарь принюхивался.

Потом шаги затихли.

Ждан сидел за пустым столом в пустой гриднице. Слуги уже ушли. Последний светильник догорал на стене, и тени от щитов и знамён шевелились на брёвнах, как живые.

Три седмицы капель. Двадцать один день. До Купалы оставалось двадцать восемь.

Значит, через три седмицы князь ослепнет совсем. А ещё через седмицу, в Купальскую ночь, – «сам упадёт».

Ждан развернул обе бересты и положил рядом. «Никто не должен знать» – князя. «Никто не спросит» – лекаря. Две правды, лежащие рядом, как две половинки разломанного хлеба.

Князь молчит, потому что боится показать слабость. А лекарь пользуется его молчанием. И воевода молчит. И Судимир говорит: не твоё дело.

А до Купалы двадцать восемь дней.

Ждан свернул бересты, спрятал за пазуху и пошёл к двери. На пороге он остановился и оглянулся на пустое кресло на возвышении. Медвежья шкура свисала с него, тёмная, лохматая, и в полумраке казалось, что в кресле кто-то сидит.

Кто-то, кто не видит ничего, кроме пятен.

Он вышел во двор, и ночной воздух ударил в лицо, свежий, пахнущий скошенной травой и дымом из поварни. Над теремом горели звёзды, крупные, ясные, и Ждан вдруг подумал, что князь их, наверное, уже не видит. Давно не видит. И никому не может об этом сказать.

Глава 6. Буквы на песке

В воскресенье судная изба не работала. Ждан отстоял обедню в церкви Николы на Торгу, послушал, как поп Исаия, старый и подслеповатый, путается в словах, и вышел на паперть, щурясь от солнца. Народ расходился. Бабы в праздничных платках судачили у ограды, мужики уже тянулись к корчмам, дети носились между ними с визгом. Пахло ладаном, свежим хлебом и конским навозом. У ограды нищий слепец тянул бесконечную песню про Егория Храброго, и Ждан, проходя мимо, бросил ему медную резану.

Он не знал, куда идти. Домой не хотелось. Дома был короб под лавкой и две бересты за пазухой, которые жгли кожу, как угли. Три дня он думал, что делать, и ничего не придумал. Каждый вечер он садился писать грамоту – князю, воеводе, Судимиру, кому угодно, – и каждый вечер останавливался на первой строке. «Ведомо мне стало…» Как ведомо? От кого? Он сжигал бересты в печи и ложился спать, а утром шёл в избу и писал межевые споры.

До Купалы оставалось двадцать пять дней.

Он спустился к реке. Под детинцем, у подножия высокой стены, на берегу Сежи была портомойня – длинные мостки, уходившие в воду, где бабы с княжьего двора стирали бельё. В будни здесь было шумно, мокро, пахло щёлоком и мылом, бабы ругались и пели. В воскресенье портомойня пустовала. Только у дальнего края мостков, там, где кончались доски и начиналась узкая песчаная коса, сидела одна фигура в сером.

Ждан узнал её сразу. По косе, перекинутой через плечо. По тому, как она сидела – прямо, неподвижно, обхватив колени руками.

Он остановился. Сердце застучало. Уйти? Она его не видит. Можно уйти, и ничего не будет.

Он пошёл к ней.

Неждана услышала шаги по доскам и обернулась. Увидела его. Лицо у неё не изменилось, только глаза расширились. Она не встала, не убежала. Сидела и смотрела, как он идёт.

– Здравствуй, – сказал он, остановившись в трёх шагах.

Она кивнула.

– Можно сесть?

Она пожала плечами и отвернулась к реке. Ждан сел рядом, на песок, не слишком близко. Песок был тёплый, нагретый солнцем. Вода у самой косы была прозрачная, и в ней стояли мальки, крошечные, серебристые, головами против течения.

Они молчали. Долго. Ждан не знал, как начать. Он смотрел на реку, на Заречье за ней, на лодки у перевоза, на далёкий лес, синий в полуденном мареве. Потом посмотрел на Неждану. Она сидела, обхватив колени, и смотрела на воду. На щеке у неё была ямочка, которую он раньше не замечал, – маленькая, едва видная.

Тогда он вытащил из кошеля писало и бересту.

Неждана быстро повернула голову. Глаза её следили за его руками.

– Я не знаю, как это работает с тобой, – сказал он тихо. – Я никогда не пробовал так. Мне надо вести запись. Записывать чью-то речь. Иначе не выходит. Можно, я буду записывать свою? Будто мы говорим. Я пишу, что говорю я, а рука… та рука… пишет, что говоришь ты.

Она смотрела на него. Потом медленно кивнула.

Ждан положил бересту на колено. Взял в правую руку уголёк – он всегда носил с собой пару угольков, чтобы черкнуть что-нибудь на доске, – а в левую писало. Правая рука вывела на краю бересты: «Ждан: здравствуй».

– Здравствуй, – сказал он вслух.

Холод. Левая рука пошла.

«Здравствуй, писарь. Ты пришёл меня искать?»

Он прочитал и почувствовал, как краснеют уши.

– Нет, – сказал он и записал правой. – Шёл мимо.

«Врёшь. Тут никто мимо не ходит. Тут тупик».

Он засмеялся. Смех вышел хриплый, каркающий. Неждана посмотрела на него, и уголки её губ дрогнули – едва-едва. Это была почти улыбка.

– Вру, – признал он. – Я не знал, что ты здесь. Но я хотел тебя увидеть.

«Зачем?»

– Не знаю. – Он помолчал. – Потому что ты единственная, с кем я могу говорить… так. Как с тобой. Ты единственная, кто знает.

Левая рука замерла. Потом пошла медленнее.

«Я ничего не знаю. Я только знаю, что ты меня слышишь. Как – не знаю. Ты колдун?»

– Нет.

«А кто?»

Ждан смотрел на реку. Мальки у берега вдруг брызнули в разные стороны – где-то в глубине прошла щука.

– Моя мать была ведуньей, – сказал он. – Её утопили. Двенадцать лет назад. Вон там, у поворота, где омут. Она умела то же, что я. Слышать то, что люди не сказали. Её за это убили. Не прямо за это. Придумали другое. Но за это.

Он не знал, почему говорит. Двенадцать лет он не говорил этого никому. Ни Ратше, ни Судимиру, ни попу на исповеди. А сейчас говорил – немой девушке на песчаной косе, и слова выходили легко, как будто давно стояли у порога и ждали, когда откроют дверь.

Левая рука не писала. Неждана молчала – даже внутри молчала. Потом рука медленно, очень медленно вывела:

«Я видела. Мне было двенадцать. Отец водил меня на берег. Я помню её. Она в белой рубахе была. И не плакала».

Ждан закрыл глаза.

«Прости», – добавила рука.

– Тебе не за что.

«Есть за что. Я стояла и смотрела, как все. А отец сказал: смотри, дочка, вот что бывает с теми, кто пишет правду. Я тогда не поняла. А через пять лет его самого…»

Рука остановилась. Ждан открыл глаза. Неждана сидела, отвернувшись, и плечи у неё были напряжённые, острые.

– Его – что? – тихо спросил Ждан.

Рука не двигалась. Неждана покачала головой. Не сейчас. Ждан понял и не стал спрашивать.

Они снова молчали. Солнце поднялось выше, на воде заплясали блики. Где-то у перевоза кричали перевозчики, переругиваясь с берега на берег.

Потом Неждана повернулась к нему, и левая рука Ждана снова пошла – быстро, решительно:

«Ты мне скажи. Тебе это больно? Когда ты слышишь. Я видела, как у тебя руки трясутся. И голос. Ты из-за этого хрипишь?»

Ждан не ответил. Неждана смотрела на него, и в глазах её было понимание – быстрое, острое, такое, какого он не ждал.

«Из-за этого, – написала рука. – И каждое моё слово тебе тоже стоит голоса. Да? Я сейчас с тобой говорю, а ты за это платишь?»

– Немного, – сказал Ждан.

«Тогда я буду молчать».

– Нет, – сказал он быстро. Слишком быстро. – Нет. Не надо. Пожалуйста.

Она смотрела на него, чуть наклонив голову.

«Почему?»

Он не знал, что ответить. Потому что за двенадцать лет она первая, кто говорит с ним, а не с судьёй, не с обидчиком, не с Богом? Потому что каждое её слово, ложась на бересту, не было ни ложью, ни грязью, ни страхом, а было просто – её словом? Потому что у неё ямочка на щеке?

– Потому что ты мне нужна, – сказал он наконец. – Не так. Не только так. Мне нужен кто-то в тереме. Кто видит. Я знаю, что князю готовят зло. Я не знаю – кто. Не всех знаю. А ты видишь, кто к кому ходит.

Он рассказал. Не всё – про воеводу, про лекаря, про князя, который не видит. Про двадцать пять дней до Купалы. Он говорил тихо, хрипло, и правой рукой записывал свои слова, потому что иначе рука Нежданы не могла бы ему отвечать. Береста кончилась, он достал вторую, потом третью.

Неждана слушала, не перебивая. Лицо её становилось всё строже. Когда он кончил, левая рука долго не двигалась. Потом пошла:

«Я знала, что что-то худое. Но не знала – что. Слушай. Брат княгини, Збыслав, ходит к греку. Каждые три дня. Носит ему кошель. Я видела, потому что меня посылают к поварне за отварами для княжича маленького, а грек живёт рядом. Однажды я видела, как грек дал Збыславу склянку. Тёмную. Такую же, как у него на поясе. А Збыслав её сестре отнёс».

– Княгине? – Ждан выпрямился.

«Княгине. Она её в ларец спрятала. Под замок. Я видела, потому что я ей косы чешу на ночь. А ещё…»

Рука запнулась.

«…а ещё она по ночам встаёт. Когда князь спит. Берёт ту склянку и что-то делает. Выливает из неё. Сколько-то. В горшок с водой, а воду потом в окно. А потом доливает обратно водой. Я один раз видела. Она меня не заметила».

Ждан смотрел на бересту. Значит, Любава… Значит, княгиня разбавляет отраву? Или наоборот? Нет. «Лишь бы не раньше срока». Не раньше срока.

– Она боится, – сказал он вслух. – Она не хочет, чтобы он умер. Или не хочет, чтобы раньше. Я не понимаю.

«Я тоже. Но она плачет. Каждую ночь, когда думает, что никто не слышит. Она его не любит, князя. Но и смерти ему не хочет. Я это знаю. Я с ней два года».

Солнце уже перевалило за полдень. Ждан почувствовал, что горло горит. Он закашлялся, долго, мучительно, согнувшись. Неждана положила ему руку на спину – лёгкую, тёплую – и держала, пока кашель не отпустил.

Когда он выпрямился, она смотрела на него с тревогой. Рука написала:

«Хватит на сегодня. Ты синий весь».

– Ничего.

«Не ничего. Ты мне скажи: а если бы я умела писать? Сама. Тогда тебе бы не надо было… так?»

Ждан моргнул. Об этом он не подумал.

– Тогда – нет, – сказал он медленно. – Тогда бы ты писала сама, а я бы просто читал. Мне бы это ничего не стоило.

«Научи».

Он смотрел на неё. Она смотрела на него – упрямо, требовательно, сжав губы.

– Это долго, – сказал он.

«У нас двадцать пять дней. Ты сам сказал».

– За двадцать пять дней не выучишься.

«Посмотрим».

Он отложил бересту. Взял прутик, валявшийся на песке, и разгладил ладонью перед собой ровную площадку. Песок был мелкий, влажный ближе к воде, и на нём хорошо оставались следы.

– Смотри, – сказал он. – Это «аз». Первая буква.

Он вывел на песке. Неждана наклонилась и смотрела, затаив дыхание. Потом взяла у него прутик и повторила. Буква вышла кривая, перекошенная, но узнаваемая.

– Это «буки».

Она повторила.

– «Веди».

Повторила.

Они сидели на песке, и Ждан чертил буквы, а Неждана повторяла. Сначала медленно, высунув кончик языка от старания. Потом быстрее. На восьмой букве она запнулась, перепутала «живёте» с «зело», сердито стёрла ладонью и начала снова. На двенадцатой она остановилась и посмотрела на Ждана с таким торжеством, что он рассмеялся.

Она тоже засмеялась. Беззвучно – только плечи затряслись, и глаза засияли, и ямочка на щеке стала глубже.

Ждан смотрел на неё и думал, что никогда ещё не видел, как смеются немые. В судной избе люди не смеялись. Там плакали, божились, кричали, кланялись. Он двенадцать лет смотрел на людей, которым плохо, и почти забыл, как выглядят люди, которым хорошо. Он смотрел и запоминал. И что это, наверное, самый красивый смех на свете, потому что его нельзя услышать, а можно только увидеть.

Потом он снова взял бересту и уголёк.

– Последнее на сегодня, – сказал он. – Ты сказала про отца. Что через пять лет его самого… Ты не хочешь говорить. Я понимаю. Только скажи одно: кем он был?

Левая рука долго не двигалась. Неждана сидела, опустив глаза. Пальцы её чертили что-то на песке – бесцельно, бессмысленно.

Потом рука написала:

«Резчиком. Он резал по меди и по камню. Буквы. Печати. Он тоже знал грамоту, только не умел писать пером, только резцом. Меня не успел научить».

– Печати, – повторил Ждан.

«Он князю печать резал. Новую, когда князь Мстивой на стол сел. Я помню, как он над ней сидел ночами. А через пять лет его нашли в Сеже. Сказали – пьяный упал. Он не пил».

Ждан ничего не сказал. Он положил свою руку поверх её руки, лежавшей на песке. Она не отдёрнула.

Так они сидели, пока на колокольне Николы не ударили к вечерне.

Неждана встрепенулась, вскочила, отряхнула платье. Посмотрела на солнце, на детинец, на Ждана. Рука его, всё ещё лежавшая на бересте, торопливо написала:

«Мне пора. Меня хватятся. Я приду в следующее воскресенье. Сюда же. И в среду вечером, после того как княгиня ляжет, если смогу».

– Приходи, – сказал Ждан.

«И ты приходи. И буквы мне напиши на бересте. Все. Я буду учить ночью».

– Напишу.

Она кивнула. Сделала шаг. Потом обернулась, и рука его дописала последнее, быстро, наискосок, почти неразборчиво:

«Ждан. Спасибо, что ты меня слышишь».

Она ушла по мосткам, лёгкая, быстрая, и не оглянулась. Ждан смотрел ей вслед, пока она не скрылась за углом стены.

Потом он посмотрел на бересты. Их было пять, все исписанные. Её слова. Её голос, которого никто никогда не слышал.

Он вспомнил правило. Несказанное уходит из человека. Человек забывает, что хотел это сказать.

Но Неждана не забыла. Он видел это. Она помнила, что сказала ему, – помнила про отца, про княгиню, про склянку. Значит, для неё это было по-другому. Для неё это не было несказанным – это было сказанным. Она говорила, а он слышал. Значит, из неё уходило не знание и не память. Уходила тяжесть. Та тяжесть, которая давит на каждого, кто молчит слишком долго.

Может быть, так было и с другими. Может быть, Мавра, которая хотела убить мужа, забыла не мысль, а тяжесть мысли. Может быть, он всё это время понимал свой дар неправильно.

Ждан сложил бересты, перевязал лыком и спрятал за пазуху – отдельно от тех, двух.

Потом он посмотрел на песок. Там, на ровной площадке, были нацарапаны двенадцать букв – его ровные и её кривые, рядом, в два ряда. Течение подбиралось к ним, лизало край площадки, и последние буквы уже начали расплываться.

Он не стал их стирать. Пусть река заберёт сама.

Он поднялся, отряхнул песок с колен и пошёл вверх, к Гончарному концу. Горло болело. Голос был совсем сиплый. Но ему было легко – так легко, как не бывало уже очень давно.

На взвозе, у первых домов Гончарного конца, его догнали торопливые шаги.

– Писарь! Эй, писарь, погоди!

Ждан обернулся. По тропе от реки, запыхавшись, поднимался парень лет шестнадцати – тощий, длинношеий, с оттопыренными ушами и с пятнами от травяного сока на пальцах. Ждан узнал его не сразу. Потом вспомнил: ученик Агапита, мальчишка, который растирал лекарю травы в ступке и бегал по детинцу с поручениями. Звали его, кажется, Фомой.

– Ты ведь писарь? Из судной избы? – Фома остановился, хватая ртом воздух. Глаза у него бегали. – Который про чернила князю сказал?

– Я.

– Мне бы… – мальчишка оглянулся через плечо, на стену детинца, на мостки портомойни. Там никого не было. – Мне бы записать одно. Грамоту. Чтоб было записано, понимаешь? Чтоб если что – было.

– Если что? – спросил Ждан.

Фома облизнул губы. Он был бледен, и на лбу у него, несмотря на вечернюю прохладу, выступил пот.

– Я не могу тут. Не сейчас. Мне надо… Я видел кое-что. У хозяина. Я не знаю, что это. Может, и ничего. Но мать говорит: если боишься – запиши у писаря и отдай на хранение в церковь, тогда тебя не тронут, потому что будет известно. Ты запишешь?

– Запишу, – сказал Ждан медленно. – Приходи завтра в избу.

– Нет! – Фома дёрнулся. – Не в избу. Там судья. Там все. Я к тебе домой приду. Ты где живёшь?

– Последний дом на Гончарной, у пустыря.

– У ведьминого дома? – Фома округлил глаза, потом спохватился. – Прости. Я приду. Завтра к ночи приду. Ты только никому не говори, ладно?

– Не скажу.

Мальчишка кивнул, ещё раз оглянулся и бегом бросился вверх по взвозу, к детинцу. Ждан смотрел ему вслед, пока тот не скрылся за воротами.

«Я видел кое-что. У хозяина».

Он подумал о склянках тёмного стекла на полках у лекаря, о мешочке на поясе, о сладковатом гнилом запахе, которого он не узнал. Потом подумал, что надо было пойти с мальчишкой, или задержать его, или расспросить прямо тут. Но мальчишка уже убежал, и догонять его через весь детинец, на глазах у сторожи, было бы глупо.

Завтра, сказал он себе. Завтра к ночи.

Дома он первым делом поставил на стол чистую бересту, перо и чернильницу – чтобы всё было готово. Потом сел и долго смотрел на дверь, хотя знал, что до завтрашней ночи никто не придёт.

Потом, чтобы занять руки, он взялся за азбуку. Он сидел при лучине и писал её: все буквы, по порядку, крупно, на большом листе бересты. Под каждой – слово, которое с неё начинается. «Аз – азбука. Буки – берег. Веди – вода». Он писал, и думал, какое слово поставить под «Н», и не мог решить. Потом написал: «Наш – Неждана».

Посмотрел. Покраснел. Соскоблил ножом «Неждана» и написал «нива».

Посмотрел снова.

Соскоблил «ниву» и написал обратно.

Глава 7. Утопленник

Фома не пришёл.

Ждан ждал его весь вечер понедельника. Он вернулся из избы засветло, растопил печь, сварил себе пшённой каши, съел половину, остальное поставил на загнетку – вдруг мальчишка будет голодный. Разложил на столе бересту, перо, чернила. Зажёг лучину, потом вторую. Сел у окна.

За окном темнело. Сежа из серебряной стала свинцовой, потом чёрной. На Заречье зажглись огоньки, сначала редкие, потом много, потом снова редкие – люди ложились спать. Ударили сторожа на детинце. Раз, другой. Полночь.

Фома не пришёл.

Ждан говорил себе, что мальчишка испугался. Что передумал. Что хозяин не отпустил – мало ли поручений у лекарского ученика ночью. Что придёт завтра. Он говорил себе это и не верил ни единому слову, потому что помнил, как Фома оглядывался на стену детинца и как у него на лбу блестел пот.

Под утро он задремал прямо у окна, сидя, привалившись головой к косяку. Ему снилась мать. Она сидела за столом в старом доме и писала, а он смотрел ей через плечо и не мог прочитать ни слова, потому что буквы были незнакомые, чужие. «Учись», – сказала мать, не оборачиваясь. – «Учись читать то, что не написано». Потом она встала и пошла к двери, и Ждан увидел, что с подола её белой рубахи течёт вода.

Он проснулся от стука.

Стучали не в дверь, а в окно, громко, кулаком, так что дрожала слюда. Ждан вскочил, ударился коленом о лавку. За окном было серое предрассветное небо и веснушчатое лицо Ратши.

– Открывай! – Ратша был без шапки, волосы растрёпаны. – Открывай, писарь, судья тебя кличет. Срочно.

– Что случилось?

– Утопленник у перевоза. Мальчишка. Лекарев ученик.

Ждан стоял посреди избы и не мог пошевелиться. Колено болело. Каша на загнетке остыла и покрылась коркой.

– Ждан! – Ратша забарабанил снова. – Ты чего?

– Иду, – сказал Ждан.

Они спускались к перевозу почти бегом. Ратша шёл впереди, размахивая руками, и говорил, не оборачиваясь, как говорят люди, которым страшно молчать.

– Я в стороже стоял у Водяных ворот. Под утро прибегает перевозчик, орёт: утоп, утоп! Я с ним к реке. А там он. Я его сразу узнал, по ушам. Он ко мне в гридницу бегал, Агапит его посылал, мази от потёртостей носил. Весёлый был. Всё про травы рассказывал. Говорил, что подорожник – это не трава, а лекарь для бедных. – Ратша споткнулся о корень, выругался. – Шестнадцать лет. Ждан, ему шестнадцать было.

– Знаю.

– Откуда?

Ждан не ответил. Ратша обернулся и посмотрел на него – пристально, с подозрением.

– Ты его знал?

– Он ко мне приходил. Вчера. То есть позавчера. Хотел, чтобы я ему что-то записал.

Ратша остановился так резко, что Ждан чуть не налетел на него.

– Что записал?

– Не знаю. Не успел. Он сказал, что придёт ночью. Не пришёл.

Ратша долго смотрел на него. Лицо его, обычно весёлое, стало твёрдым, взрослым. Ждан никогда не видел его таким.

– Это то же? – тихо спросил Ратша. – То, про что ты в корчме говорил? Про Купалу?

– Не знаю, – сказал Ждан. – Думаю, да.

Ратша выругался – длинно, грязно, как ругаются гридни на учениях. Потом пошёл дальше, быстрее прежнего, и больше не говорил ни слова до самого берега. Только у первых лодок он обернулся и сказал через плечо:

– Если узнаешь, кто, – скажи мне. Мне. Слышишь? Не судье, не воеводе. Мне.

– Скажу, – пообещал Ждан.

Его нашли перевозчики, рано утром, когда собирались гнать паром на Заречье. Тело прибило к сваям перевоза, лицом вниз, в зелёную тину. Когда Ждан с Ратшей спустились к реке, вокруг уже стояла толпа – перевозчики, рыбаки, бабы с вёдрами, ребятишки, которых никто не мог отогнать. Тело лежало на берегу, на мокрой траве, накрытое чьей-то рогожей, из-под которой торчали босые ноги, белые, сморщенные от воды.

Судимир сидел на бревне чуть поодаль, опираясь на палку, и ждал. Рядом стояли двое гридней и сотский с Торга. Увидев Ждана, старик кивнул.

– Садись, пиши. Дознание. Утопленник, Фома, Демьянов сын, холоп… нет, не холоп. Вольный. Ученик лекаря Агапита. Найден у перевоза на рассвете.

Ждан сел на перевёрнутую лодку, положил на колени доску. Пальцы не слушались. Он обмакнул перо и уронил каплю чернил на пергамент. Пришлось присыпать песком.

– Кто нашёл? – спросил Судимир.

Вышел перевозчик, седой, кряжистый, мял в руках шапку. Рассказал, как нашли, где, во сколько. Говорил коротко, по делу. Левая рука Ждана не шевелилась – у перевозчика не было несказанного, только жалость и усталость.

– Сотский, смотрел тело?

Сотский, толстый, с одышкой, подошёл к рогоже, откинул край. Ждан не хотел смотреть, но посмотрел. Фома лежал на спине, лицо синее, распухшее, глаза закрыты. Мокрые волосы облепили лоб. Уши торчали так же, как вчера.

– Синяков нет, – доложил сотский, наклонившись. – На голове, вот тут, ссадина. Об сваю, верно, ударился. Руки целы. Пахнет от него… – Он наклонился ниже и потянул носом. – Медовухой пахнет.

– Пил, значит, – сказал Судимир.

– Выходит, пил, судья. Пьяный пошёл к реке, оступился, упал, головой об сваю – и всё.

– Он не пил, – сказал Ждан.

Это вырвалось само. Опять. Он прикусил губу.

Судимир посмотрел на него.

– Откуда знаешь?

– Я… видел его. Вчера. Позавчера. Он не похож был на пьющего.

– Шестнадцать лет, – сказал сотский, – они все в шестнадцать лет не похожи, а потом вона как.

– Пиши, – сказал Судимир Ждану. Голос его был ровный, без упрёка. – Пиши, что сотский сказал. Свидетель – лекарь Агапит. Где он?

Агапит стоял у самой воды, в стороне от толпы. Ждан его раньше не заметил. Лекарь был в тёмном, без шапки, и чёрные волосы его блестели от тумана. Он подошёл медленно, неохотно.

– Твой ученик? – спросил Судимир.

– Мой.

– Когда видел в последний раз?

– Вчера вечером. – Агапит говорил отрывисто, глядя не на судью, а на рогожу. – Я послал его на Торг за воском. Он не вернулся. Я думал – загулял. Мальчишки.

– Пил он?

Агапит помолчал.

– Бывало, – сказал он. – Я его ругал.

Холод. Левая рука дёрнулась. Ждан не смотрел на неё – он смотрел на лекаря, и в груди у него всё сжималось.

На бересте появилось: «Дурак. Сам полез. Я же предупреждал – не трогай. Зачем полез?»

Ждан стиснул перо так, что оно хрустнуло. Он поспешно взял другое.

– Враги у него были? – продолжал Судимир.

– Какие враги у мальчишки? – Агапит пожал плечами. – Никаких.

Левая рука: «Были. Теперь – нет. Теперь – я один знаю».

– Добро, – сказал Судимир. – Иди. Ещё кто?

Из толпы вытолкнули женщину. Её держали под руки две соседки – она бы не устояла сама. Это была маленькая, высохшая баба в сером платке, с красными руками прачки и с лицом, которое, казалось, разом постарело на двадцать лет. Она не плакала. Она смотрела на рогожу сухими, страшными глазами.

– Мать, – сказал кто-то в толпе. – Демьяниха. Прачка с Заречья.

– Говори, мать, – сказал Судимир мягче.

Женщина молчала. Соседки что-то шептали ей на ухо. Наконец она разлепила губы.

– Сын мой, – сказала она. Голос был деревянный, пустой. – Фома. Один он у меня. Мужа нет. Он у лекаря служил. Хорошо служил. Лекарь хвалил.

– Пил он?

Демьяниха перевела взгляд на судью. Долго смотрела.

– Не знаю, – сказала она. – Может, и пил. Молодой.

Холод. Сильный, резкий, как удар. Левая рука Ждана рванулась по бересте – глубоко, с нажимом, прорезая бересту местами насквозь:

«Не пил он! Никогда! Он мне позавчера сказал – мама, мне страшно. Хозяин меня на Бор посылает, к чернецу Пимену, носить склянки. Я, говорит, одну открыл, понюхал – там смерть. Я, говорит, пойду к писарю и запишу, чтоб было известно. Я ему говорю – не ходи, сынок, не лезь, бедным лезть нельзя. А он пошёл. Не к писарю – на реку пошёл. Убили его. Убили. А я молчу, потому что у меня ещё дочка, Груня, маленькая. Скажу – и её убьют. Молчу. Господи, прости меня, молчу».

Ждан смотрел на бересту, и буквы плыли у него перед глазами. Он моргнул раз, другой. Слёзы мешали. Он отвернулся, будто от ветра, и вытер глаза рукавом.

– Всё, мать? – спросил Судимир.

– Всё, – сказала Демьяниха.

Соседки увели её.

Судимир помолчал. Потом сказал, глядя в сторону реки:

– Пиши, Ждан. «Фома, Демьянов сын, утонул по нечаянности, будучи во хмелю. Вины ничьей нет. Тело отдать матери. Вира не взыскивается».

Ждан записал. Правая рука выводила слова ровно, как всегда. Он смотрел на эти слова – «по нечаянности», «во хмелю», «вины ничьей нет» – и ему казалось, что он пишет их кровью. Или нет. Не кровью. Речной водой. Такой же мутной, как та, что выносит тела к сваям перевоза.

Он записал это. Двенадцать лет назад другой писарь записал: «Ведана, ведунья, повинна в лживом письме». И тоже, наверное, писал ровно.

Судимир встал, опираясь на палку.

– Расходитесь, – сказал он толпе. – Нечего глазеть. Ратша, пусть тело отнесут матери. Ждан, пергамент в избу.

Толпа нехотя расходилась. Ждан сидел на лодке, сжимая в руках доску, и смотрел, как перевозчики поднимают рогожу. Тело было лёгкое, мальчишеское. Одна рука свесилась, и Ждан увидел на пальцах зелёные пятна от травяного сока.

Судимир подошёл к нему и остановился рядом.

– Ты его знал? – спросил он тихо.

– Немного.

– Жалко мальчишку. – Старик вздохнул. – Река берёт каждый год. По весне особенно. Сежа – река злая, тут много кто тонул.

Ждан поднял на него глаза.

– Много кто, – повторил он.

Судимир смотрел на него сверху вниз. Лицо у старика было спокойное, усталое, морщинистое. И в нём не было ничего – ни вины, ни угрозы, ни жалости. Ничего. Как у иконы, с которой стёрлась краска.

– Иди в избу, Ждан, – сказал он. – Иди. Работа ждёт.

Ждан пошёл в избу. Он работал до полудня – переписывал набело дознание, и каждый раз, доходя до слов «во хмелю», останавливался и смотрел на них, будто ждал, что они сами исчезнут с пергамента. Они не исчезали. В полдень он сказал служке, что живот прихватило, и ушёл. Никто его не держал.

Он перешёл на Заречье на пароме. Паромщик, тот же седой перевозчик, что нашёл тело, посмотрел на него, но ничего не сказал. Только, когда паром ткнулся в берег, буркнул:

– Демьянихин двор – третий от кузни. С синими ставнями.

– Спасибо, – сказал Ждан.

– Не за что. – Перевозчик сплюнул в воду. – Мальчишка не пил. Я его знал. Он моему внуку ногу лечил, травками. Даром.

Заречье было бедное, низкое, болотистое. Дома здесь стояли на сваях, потому что по весне Сежа разливалась и подходила к самым порогам. Улицы были не улицы, а тропы, вымощенные горбылём, который чавкал под ногами. Пахло дублёной кожей – кожемяцкие чаны стояли прямо во дворах, – тухлой рыбой и сыростью. Ребятишки, грязные, босые, бегали между домами с собаками. Где-то стучал молот.

Двор Демьянихи был маленький, огороженный плетнём. На верёвках сушилось чужое бельё – боярское, тонкое, с вышивкой. Ставни на окнах и правда были синие, облупившиеся. Дверь была открыта, и из неё доносилось тихое, монотонное причитание.

Ждан постоял у плетня. Потом вошёл.

В избе было темно и тесно. На лавке у окна лежал Фома, обмытый, в чистой рубахе, со сложенными на груди руками. В изголовье горела свеча. Рядом сидела Демьяниха и причитала – тихо, без слёз, раскачиваясь из стороны в сторону. На печи, свесив ноги, сидела девочка лет шести, с таким же оттопыренным ухом, как у брата, и смотрела на мать огромными испуганными глазами.

Демьяниха подняла голову и увидела Ждана.

– Ты кто? – спросила она.

– Писарь. Из судной избы. Я утром писал.

Она смотрела на него долго, не понимая. Потом лицо её исказилось.

– Писарь, – сказала она. – Это ты, значит. Это к тебе он шёл.

Ждан почувствовал, как у него подгибаются колени.

– Он сказал тебе?

– Сказал. Сказал, что есть в судной избе писарь, хрипун, который князю правду сказал про чернила. Что ты, может, не побоишься записать. – Она встала. Маленькая, сухая, она подошла к Ждану вплотную и смотрела снизу вверх. – Записал бы ты, и что? Что бы было? Он бы живой был?

– Не знаю, – сказал Ждан. – Может быть.

– Может быть. – Она горько усмехнулась. – Может быть. А ты знаешь, что он мне сказал? Что ты один такой. Что все в избе – сволочи, а ты один такой. Дурак он был. Добрый дурак.

Она отвернулась. Плечи её затряслись. Ждан стоял и не знал, что делать. Потом достал из кошеля всё, что там было, – три ногаты и горсть резан, – и положил на стол.

– Не надо, – сказала Демьяниха, не оборачиваясь.

– Для Груни, – сказал Ждан.

Она обернулась. Посмотрела на деньги, на него, на девочку на печи.

– Откуда ты знаешь, как её звать?

Ждан не ответил.

Демьяниха смотрела на него долго, и в глазах её что-то менялось – медленно, как лёд на реке трогается по весне. Потом она подошла к сундуку в углу, открыла крышку, порылась и достала что-то маленькое, свёрнутое.

– Он это оставил, – сказала она. – Позавчера. Сказал – мама, спрячь, если со мной что, отдай писарю. Я не хотела отдавать. Думала, сожгу. Боялась. А ты пришёл сам.

Она протянула ему. Это был клочок пергамента, обрезок, какие остаются у переписчиков. На нём было написано неровным, торопливым, мальчишеским почерком:

«Склянки у хозяина: тёмная с белым воском – для князя, три капли в утро. Тёмная с красным воском – на Бор, чернецу Пимену, к Иванову дню. Красную я понюхал – там болиголов и ещё что-то, сладкое, не знаю. Хозяин сказал: красная – для всего двора, на Купальские меды. Збыслав-поморец платит. Игумену, говорит, ни слова, игумен боится. Записал я, Фома, своей рукой, на случай».

Ждан читал, и у него холодели пальцы.

Для всего двора. На Купальские меды.

Не только князь. Весь двор. Все, кто будет на пиру в Купальскую ночь. Бояре, дружина, гости.

– Ты знаешь, что тут? – спросил он хрипло.

– Я грамоте не знаю, – сказала Демьяниха. – И знать не хочу. Забери. Забери и уходи. И больше не приходи. У меня Груня.

Ждан спрятал обрезок за пазуху, к другим берестам. Поклонился – низко, до земли, как кланялся ему Онфим.

– Прости меня, мать, – сказал он.

Демьяниха не ответила. Она вернулась к лавке, к сыну, села и снова начала раскачиваться, тихо причитая.

Ждан вышел. На пороге он обернулся. Девочка на печи смотрела на него, не мигая.

– Дядя, – сказала она вдруг тонким голосом. – А Фомка теперь где?

Ждан не знал, что ответить. Он помолчал и сказал:

– Там, где не страшно.

Девочка подумала и кивнула, будто его ответ её устроил.

Он шёл обратно к перевозу по чавкающему горбылю, мимо кожемяцких чанов, мимо собак и ребятишек, и думал только об одном. «Ты один такой». Фома шёл к нему. Шёл, потому что поверил. А Ждан сказал: «Завтра к ночи». Сказал: «Приходи завтра». Мог сказать: «Пойдём сейчас». Мог взять мальчишку за руку и отвести к себе, на Гончарный, и записать всё в тот же вечер. И мальчишка был бы жив. Может быть.

Может быть.

Он остановился у края воды. Паром был на том берегу. Сежа текла мимо, быстрая, мутная, полная весенней травы и щепок. Где-то под ней, у поворота, был омут. Где-то под ней двенадцать лет назад лёг на дно камень с верёвкой.

«Река берёт каждый год. Тут много кто тонул».

Ждан стоял на берегу и смотрел на воду, и ему казалось, что он слышит её. Не шум течения, не плеск у свай. Что-то другое. Будто река тоже держала в себе несказанное – целую реку несказанного, всё то, что не успели сказать те, кого она взяла.

Паром приближался. Перевозчик тянул канат, мерно, тяжело.

Ждан достал обрезок Фомы и перечитал ещё раз. «Записал я, Фома, своей рукой, на случай».

На случай.

Он спрятал обрезок и подумал, что теперь знает, что делать дальше. Не знает как. Но знает что. Нужно забрать склянки. Нужно увидеть их своими глазами, нужно иметь их в руках. Тогда будет не несказанное, не береста, которой никто не поверит, а вещь. Отрава. Доказательство.

А для этого нужно попасть к Агапиту. Ночью.

Паром ткнулся в берег. Перевозчик посмотрел на Ждана и молча отвязал канат.

– Видел её? – спросил он, когда они отчалили.

– Видел.

– Плохо ей.

– Плохо.

Перевозчик помолчал, перебирая канат.

– Если тебе что надо будет, писарь, – сказал он вдруг, не глядя, – ну, переправить кого ночью, или спрятать, – скажи. Мокею не говори, Мокей продаст. Мне скажи. Меня Ерёмой звать.

Ждан посмотрел на него.

– Почему?

– А потому, – сказал Ерёма и сплюнул в реку. – Потому что мальчишка не пил.

Больше они не говорили до самого берега.

Глава 8. Ночная грамота

– Склянки, – повторил Ратша. – Ты хочешь украсть у лекаря склянки.

Они сидели у Ждана в избе, за столом, на котором лежал обрезок Фомы. Было уже за полночь. Ратша пришёл после сторожи, усталый, злой, и Ждан, как обещал, рассказал ему всё – всё, кроме дара. Про Фому, про записку, про красную печать на воске и Купальские меды. Про то, что Фома сам видел, сам понюхал, сам записал.

Ратша прочитал обрезок трижды, шевеля губами. Грамоту он знал плохо, по складам, и Ждан ждал терпеливо. Когда Ратша дочитал, он положил обрезок на стол и долго смотрел на него.

– Для всего двора, – сказал он. – Там же наши будут. Вся гридница. На Купалу всем медов наливают, и сторожевым тоже, после смены. Там и я буду.

– И ты.

– Сволочи. – Ратша сжал кулаки. – Ждан, это надо к князю. Прямо сейчас. Я тебя проведу, я знаю, кто сегодня на крыльце.

– И что я ему покажу? Обрезок, написанный мальчишкой, который утонул пьяный? Агапит скажет, что мальчишка был дурак и врун. Что он его выгнать хотел. Что записку писал из мести. Судимир уже записал – вины ничьей нет. А князь… – Ждан замолчал.

Про князя он не сказал Ратше. Про то, что князь не видит. Это была не его тайна.

– Что – князь? – спросил Ратша.

– Князь лекарю верит. Пять лет верит. Нужны сами склянки. Если в руках будет отрава – тогда другое дело. Отраву можно дать собаке. Можно показать знахарке. Это не слова, это вещь.

Ратша почесал затылок.

– Агапит из своего угла почти не выходит, – сказал он. – Днём у князя, у поварни, у себя. Ночью спит. Ключ на шее носит. К нему не влезешь.

– Знаю. Нужно, чтоб его не было.

– И как ты это сделаешь?

Ждан помолчал.

– Есть один человек в тереме, – сказал он наконец. – Я её спрошу.

Ратша поднял брови.

– Её?

– Её.

– Это кто ж такая?

– Неважно.

Ратша смотрел на него, и по лицу его медленно расползалась ухмылка – первая за весь этот тяжёлый день.

– Ах ты, тихоня, – сказал он. – Ах ты, хрипун. Я-то думал, ты только перо и любишь. Из терема, значит. Из девичьих?

– Ратша.

– Ладно, ладно. Молчу. – Ратша поднял руки. – Только скажи потом, как звать. На свадьбе-то мне гулять.

Ждан запустил в него обрезком бересты. Ратша увернулся и засмеялся. Смех вышел невесёлый, но всё-таки смех, и Ждан был ему за это благодарен.

В среду вечером он пришёл на портомойню, как условились. Солнце уже село, но было ещё светло – стояли самые долгие дни, и сумерки тянулись до полуночи. Над Сежей висела розовая дымка, у перевоза кричали чайки. Мостки были пустые. Ждан прошёл до самого конца, сел на песчаную косу и стал ждать.

Она пришла, когда на колокольне Николы ударили к повечерию. Быстро, почти бегом, оглядываясь. Села рядом, переводя дух. Щёки у неё горели.

Ждан достал бересту и уголь. Но Неждана покачала головой. Она вытащила из-за пазухи свёрнутую трубкой бересту – ту самую, с азбукой, которую он передал ей через ключницу, будто бы роспись для княгини, – и развернула. На обороте, кривыми, крупными, неровными буквами, с ошибкой в каждой второй, было нацарапано:

«ЖДАН. Я ВЫУЧИЛА ДВАДЦАТЬ БУКВ. ОСТАЛЬНЫЕ ПОТОМ».

Ждан смотрел на это и не мог ничего сказать. Буквы прыгали, «Ж» была похожа на жука с оторванной ногой, а в «двадцать» не хватало «д». Но это было написано. Её рукой. Её словами. Сказанное, а не несказанное.

Он поднял глаза. Неждана смотрела на него с вызовом и с ожиданием, закусив губу.

– Это лучшая грамота, какую я видел, – сказал он хрипло.

Она толкнула его плечом – сердито и довольно сразу. И ямочка на щеке появилась.

Говорить, конечно, пришлось по-старому. Писать сама она могла только медленно, по букве в три вздоха, и слов ей не хватало. Так что Ждан вёл запись своих слов, а левая рука отвечала за неё. Он рассказал про Фому. Неждана слушала, и лицо её темнело.

«Я знала его, – написала левая рука. – Он мне мазь давал, когда я руку обварила. Даром. Я не знала, что это он утонул. В тереме сказали – какой-то пьяный».

– Он не пил.

«Знаю. Он от медовухи нос воротил. Говорил, у него от неё сыпь».

Ждан рассказал про склянки и про то, что нужно, чтобы лекаря не было у себя. Неждана думала недолго.

«Святша болеет. Маленький. Третий день жар. Княгиня Агапита к нему не пускает – говорит, у нас в Поморье своих знахарок звали. А знахарку не найдут, Збыслав не даёт. Если я скажу княгине, что жар сильнее, – она испугается. Она его позовёт. Ночью. Он у Святши будет сидеть до утра, она его не отпустит. Она его не отпустит, если я ей скажу, что без лекаря нельзя».

– Ты сможешь?

«Я немая. Я не скажу. Я покажу. Я умею показывать».

– А если он к ребёнку что-нибудь…

Неждана посмотрела на него. Взгляд у неё стал жёсткий.

«Я буду рядом. Всю ночь. Я ему ничего не дам сделать. Княгиня тоже. Она за Святшу горло перегрызёт – и ему, и брату, и кому угодно. Это она только за себя боится, а за сына – нет».

Ждан долго молчал. Ему не нравилось это. Совсем не нравилось. Ребёнок, больной, рядом с человеком, который травит его отца.

– Когда?

«Завтра. Завтра ночью. Как на детинце ударят полночь – он уже будет у нас. Ключ он носит на шее, но окно у него на двор, со ставнями, а ставни изнутри на крюк. Я видела, крюк слабый. Его ножом снизу поддеть можно».

Ждан смотрел на неё с изумлением.

– Откуда ты знаешь?

Неждана улыбнулась – быстро, хитро.

«Я немая. Меня никто не замечает. Я везде хожу».

Следующая ночь была тёмная, безлунная, тёплая. Пахло цветущей черёмухой, которой было полно в детинце, и дымом от поварни, где до поздна варили что-то на завтрашний обед. Ратша стоял в стороже у ворот поварни – он поменялся с другим гриднем, отдав за это свою очередь на Купальскую ночь. Ждан об этом узнал только потом.

Ждан перелез через тын за конюшнями, там, где брёвна были пониже и где, Ратша говорил, сторожевые не ходят, потому что там всегда воняет навозом. Навозом там и правда воняло. Он пробирался вдоль стены конюшни, слышал, как за стеной фыркают и переступают кони, и сердце колотилось так, что, казалось, его слышно на весь детинец.

Ударили полночь.

Он стоял за углом поварни и смотрел на окно Агапита. Окно было тёмное. Потом в окне терема, высоко наверху, там, где были детские покои, мелькнул огонь. Мелькнул и погас. Знак. Неждана сказала, что поставит свечу на окно и уберёт, когда лекарь придёт.

Ждан выждал, пока сосчитает до ста. Потом скользнул к окну.

Ставни были прикрыты. Он просунул в щель нож, тонкий, писарский, которым чинил перья. Пошарил снизу. Крюк нашёлся сразу – и правда слабый, ржавый, едва держался в петле. Ждан поддел его, приподнял. Крюк выскочил с тихим лязгом. Ждан замер, прислушиваясь. Тихо. Только где-то в конюшне ржал конь.

Он открыл ставню и полез внутрь.

В покое было совершенно темно и пахло так, что у Ждана заслезились глаза. Травы, воск, полынь – и тот сладковатый гнилой запах, который он почувствовал в первый раз. Здесь, в темноте, он был сильнее. Ждан нащупал на поясе огниво и крошечную свечку, огарок, который захватил с собой. Высек искру. Руки тряслись, и искра погасла. Высек снова. Огарок затеплился.

Полки. Он видел их в прошлый раз. Склянки, горшки, кувшинчики. Он стал перебирать их, поднося огарок ближе. Склянки были разные – тёмные и светлые, большие и маленькие, на одних – надписи по-гречески, на других – ничего. Ни на одной не было ни белого, ни красного воска.

Он обшарил полки до конца. Ничего.

Стол. На столе – книга с рисунками корней, ступка, пестик, мешочек с какими-то семенами. Ничего.

Сундук. Под лавкой стоял сундучок, небольшой, кованый. Заперт. Ждан потрогал замок – добротный, не сбить. Он выругался про себя.

Потом посмотрел на лавку. Обычная, деревянная, с тюфяком. Он поднял тюфяк. Под ним были доски. Он постучал костяшками пальцев. Одна доска звучала иначе – глуше. Ждан подцепил её ножом. Доска поддалась.

Под ней, в тайнике, обёрнутые в тряпицу, лежали склянки. Шесть штук. Три – с белым воском на горлышке. Три – с красным.

Ждан взял по одной. Обернул в тряпицу, сунул за пазуху, к берестам. Пальцы дрожали так, что он едва не уронил красную. Потом заметил, что под склянками в тайнике лежит ещё что-то – сложенный вчетверо пергамент. Он развернул его. Это был счёт. Ровным греческим почерком – Ждан не мог прочитать ни слова, – но цифры были понятные, гостиградские: столбцы, суммы. И рядом, на полях, другой рукой, по-гостиградски, мелко: «Получено от З. – сорок гривен. Остальное – после Ивана».

После Ивана. Иван Купала.

Ждан сунул и пергамент за пазуху. Положил доску на место. Опустил тюфяк.

И тут за дверью послышались шаги.

Он задул огарок. В темноте сердце его билось где-то в ушах. Шаги остановились у двери. Звякнул ключ. Дверь начала открываться.

Ждан метнулся за полог в углу – там висел тяжёлый занавес, отгораживавший уголок с рукомойником. Он вжался в стену. Ткань пахла полынью и пылью.

Кто-то вошёл. Не Агапит – Ждан понял это сразу. Шаги были другие, тяжелее, неуверенные, как у человека, который не знает, где что стоит. Вошедший закрыл за собой дверь, постоял. Потом зашуршало, щёлкнуло огниво, и сквозь щель в пологе Ждан увидел свет.

Он осторожно наклонился к щели.

Человек стоял к нему спиной. Широкий, в тёмном плаще, с капюшоном на голове. Он держал маленький фонарь со слюдяными стенками и оглядывал полки. Потом подошёл к столу, порылся в книге, полистал. Потом к сундучку. Достал из-за пазухи ключ. Ключ! У него был ключ от сундучка. Человек открыл, порылся внутри, достал какой-то свёрток и сунул за пазуху. Закрыл сундучок.

Потом он повернулся, и свет фонаря упал ему на лицо.

Ждан не узнал его. Человек был немолодой, бородатый, с грубым лицом, с перебитым носом. Такие лица Ждан видел тысячами – на Торгу, в избе, на перевозе. Но на руке у него, на той, что держала фонарь, был перстень – тяжёлый, серебряный, с печаткой. А на печатке, когда человек поднял фонарь, Ждан увидел знак: волчью голову.

Как на фибуле воеводы Твердяты.

Человек стоял посреди комнаты и принюхивался. Потом посмотрел на окно. На ставню, которая была закрыта, но без крюка. Крюк висел на петле.

Человек медленно поднял фонарь выше.

Ждан не дышал. Человек сделал шаг к окну. Ещё шаг. Потом остановился, посмотрел на полог – прямо на него, так что Ждан видел его глаза, мутные, светлые, – и долго смотрел.

Где-то во дворе ударили в доску. Сторожа.

Человек вздрогнул. Опустил фонарь. Быстро пошёл к двери, вышел, и ключ снова звякнул в замке.

Ждан стоял за пологом и не мог пошевелиться. Ноги не держали. Он сосчитал до двухсот. Потом ещё до ста. Потом вылез, на ощупь пробрался к окну, открыл ставню и полез наружу.

Подоконник был узкий, высокий. Ждан перекинул ногу, вторую. Рубаха зацепилась за что-то – за гвоздь, за щепку в раме. Ждан дёрнулся. Ткань затрещала. Что-то посыпалось из-за пазухи – мягко, шелестя, на землю под окном.

Бересты.

Он спрыгнул, присел, шаря руками в темноте. Бересты лежали в траве под окном – он нащупал одну, другую, третью. Склянки были целы, он чувствовал их тяжесть под рубахой. Пергамент со счётом – тоже. Он собрал всё, что нашёл, судорожно, торопливо, ощупывая траву вокруг.

Шаги. Со стороны ворот. Кто-то шёл с факелом.

Ждан вскочил и побежал. Вдоль поварни, за угол, мимо конюшен, к тыну. Перелез, ободрав ладони. Спрыгнул с другой стороны в заросли крапивы. Лежал, обжигаясь, слушая, как колотится сердце. Шаги с факелом прошли вдоль тына, остановились. Потом ушли.

Он полежал ещё. Потом поднялся и пошёл вниз, к Гончарному концу, обходя улицы, по задворкам, по оврагу, по руслу ручья.

Дома он запер дверь, задвинул засов, занавесил окно рогожей и только тогда зажёг лучину.

Выложил на стол всё, что принёс.

Две склянки в тряпице. Тёмные, тяжёлые. На одной – белый воск, на другой – красный. Пергамент со счётом и пометкой «Получено от З.». Бересты.

Он пересчитал бересты.

Пять – с Нежданой, с воскресенья. Две – со вчерашнего вечера. Одна – дознание Фомы, с несказанным Агапита и Демьянихи. Одна – князя, из гридницы. Одна – Агапита, с лестницы. Береста с росписью Гудимовых должников.

Ещё раз.

Одной не хватало.

Он перебрал всё снова, медленно, по одной. Развернул каждую. Перечитал. Пересчитал.

Той, первой, с несказанным воеводы Твердяты, не было.

«Князь до Купальской ночи не доживёт. А мне и печали нет».

Ждан сидел за столом, глядя на бересты, и лучина трещала, и по стенам ходили тени. Он снова ощупал рубаху – прореха под мышкой, широкая, в ладонь. Ощупал мешочек на шнурке – материн оберег был на месте.

Береста осталась там. В траве под окном лекаря. Или её подобрал тот, кто шёл с факелом. Или человек с волчьей печаткой, если вернулся.

Ждан закрыл лицо руками.

На бересте не было его имени. Не было ничего, что указывало бы на него. Левая рука писала чужим почерком – с наклоном влево, с длинными хвостами. Никто не узнает, кто это писал.

Никто, кроме человека, который знал его мать. Который видел её бересты. Который знал, что у неё был дар и что она писала левой рукой – тем же наклоном, теми же хвостами.

Ждан сидел так до самого рассвета, не в силах уснуть. На столе лежали две склянки, тёмные, тяжёлые, и в свете лучины красный воск на одной из них блестел, как свежая кровь.

Ратша пришёл, когда солнце уже встало над Заречьем. Он сменился со сторожи, лицо у него было серое от бессонной ночи, глаза красные. Он сел на лавку, не снимая сапог, и долго смотрел на склянки.

– Достал, – сказал он.

– Достал.

– Видел тебя кто?

Ждан рассказал про человека с фонарём. Про перстень с волчьей головой. Ратша слушал, и лицо его каменело.

– Волчья голова, – повторил он. – У воеводы на фибуле. И у его ближних, кто с ним с Перемильской войны. Их человек пять осталось. Перстни им сам воевода дарил, после той битвы, где брат его погиб. – Ратша помолчал. – С перебитым носом, говоришь? Бородатый? Это Жила. Воеводин стремянной. Он за воеводой всюду, как тень.

– Значит, воевода послал.

– Значит, послал. – Ратша потёр лицо ладонями. – Ждан, я ничего не понимаю. Воевода с лекарем заодно? Или воевода у лекаря что-то забирал? Ключ-то у Жилы был свой.

– Не знаю.

Ждан взял со стола хлебную корку и раскрошил её на две кучки. Потом взял склянку с красным воском. Отколупнул воск ножом, вытащил деревянную пробку. Из горлышка потянуло сладким, гнилым – тем самым запахом. Ратша отшатнулся.

Ждан капнул одну каплю на первую кучку крошек. Закупорил. Потом открыл белую, капнул на вторую.

В углу у печи стояла мышеловка – глиняный горшок с приманкой, накрытый дощечкой на лучинке. В ней со вчерашнего дня сидели две серые мыши. Ждан осторожно вытряхнул одну в пустую кадку и бросил ей крошки с красной каплей. Вторую – в другую кадку, с белой.

Они сидели и смотрели. Мыши обнюхали крошки и принялись есть.

Первая перестала есть почти сразу. Застыла. Потом задрожала, повалилась на бок, засучила лапками. Через несколько вздохов она лежала неподвижно.

Вторая доела свои крошки и стала умываться.

– Белая медленная, – сказал Ждан тихо. – Для князя. По три капли в утро, чтоб глаза гасли и чтоб никто не догадался. А красная – быстрая. Для всех.

Ратша смотрел в кадку на мёртвую мышь. Губы у него побелели.

– Для всех, – повторил он. – На Купалу. В меды.

Он встал, прошёлся по избе, ударил кулаком в стену так, что с полки свалилась ложка.

– Слушай, – сказал он, обернувшись. – Я забыл. Я тебе не сказал. Под утро, как я сменялся, сторожевой Мирошка, который у поварни ходит, хвастался – нашёл, говорит, под лека-

ревым окном бересту исписанную. Думал, грамота любовная, хотел посмеяться, а там про князя что-то. Испугался, понёс сотнику. А сотник сказал: нечего мне таким голову морочить, неси судье. Судье Судимиру. Он и понёс.

Ждан медленно опустился на лавку.

– Судимиру, – сказал он.

– Ну да. А что там было-то? Твоя?

Ждан смотрел в кадку, где лежала мёртвая мышь, маленькая, серая, с поджатыми лапками.

– Моя, – сказал он.

Глава 9. Пустое место

Судимир в избу не пришёл.

Это случалось редко. За десять лет Ждан мог по пальцам пересчитать дни, когда старика не было на судейском месте с самого утра. Он болел однажды горячкой, две седмицы, и тогда судил второй судья, Хотен, который путал имена и засыпал на долгих делах. Ещё раз уезжал на похороны брата в Звенигорье. И всё. В остальные дни Судимир сидел в избе с утра до сумерек, сложив пальцы домиком, и его полуприкрытые глаза видели всё.

Сегодня судил Хотен. Он пришёл заспанный, ворчливый, сел, зевнул и сказал Ждану:

– Судимир велел передать – ногу ломит, не придёт. А тебя велел к себе звать вечером. После вечерни. Сказал – непременно.

– Зачем?

– А я почём знаю? Велел – иди. – Хотен снова зевнул. – Кто там первый? Давай, давай, зови, не стой.

Ждан звал. Писал. Левая рука подбирала обычный мусор, правая выводила ровные строки. Он не думал ни о чём. Он заставил себя не думать. Каждый раз, когда мысль начинала сворачивать туда, к столу в доме с садом и к бересте, которая на нём, наверное, лежит, – он заставлял её свернуть обратно. Межа. Долг. Коза. Межа.

Утром, до избы, он спрятал склянки и счёт. Он долго думал, куда. Дома нельзя – если придут искать, найдут короб под лавкой, а там и всё остальное. Отдать Ратше – тот живёт в гриднице, в общей избе с десятком других гридней. Отдать Нежданe – она в тереме, под боком у Збыслава.

В конце концов он вспомнил про иву.

На пустыре между его домом и обгорелым остовом материного дома росла старая ива – огромная, раскидистая, с дуплом у самой земли, куда мальчишкой Ждан прятал свои сокровища: рыболовные крючки, гладкие камешки, нож со сломанной рукоятью. Дупло было глубокое, сухое, прикрытое снаружи корнями и крапивой. Никто, кроме него, о нём не знал. Ждан сунул туда свёрток, заткнул вход пучком сухой травы, а сверху навалил прошлогодних листьев.

Потом постоял, глядя на обгорелый дом. Сквозь провалившуюся крышу было видно небо. Над остатками печи качался куст бузины.

Он пошёл в избу.

Вечерня кончилась. Ждан шёл по Торгу к дому Судимира, и ноги у него были ватные. Торг пустел, торговцы сворачивали лотки, грузили на телеги нераспроданное. Пахло луком, дёгтем, сеном. Мальчишки гоняли по площади собаку с привязанной к хвосту жестянкой, и жестянка гремела по камням. У колодца бабы набирали воду и смеялись чему-то. Жизнь шла как всегда. Никто не знал, что через двадцать дней в Купальские меды подольют отраву для всего двора.

Калитка в заборе была открыта. Ждан вошёл в сад. В саду было тихо, только в пруду плеснул карась. Дорожка вела к крыльцу, и на крыльце его уже ждал служка, тот же рябой парень.

– Иди, – сказал служка. – Судья в горнице.

Горница у Судимира была большая, светлая даже вечером – окна в ней были слюдяные, широкие, выходили на закат. Вдоль стен стояли полки с книгами – настоящими, в кожаных переплётах, с застёжками. Ждан никогда не видел столько книг в одном месте. Говорили, у Судимира их больше, чем в монастыре на Бору. На столе посреди горницы стояла доска для шахмат с расставленными фигурами – тёмные и светлые, резные, костяные. Партия была не окончена. У тёмных было на две фигуры больше.

Судимир сидел в кресле у окна, вытянув больную ногу на скамеечку. Перед ним на маленьком столике лежала береста.

Ждан узнал её с порога. Опалённый край. «…нязь».

– Входи, Ждан, – сказал Судимир. – Садись.

Ждан сел на лавку у стены. Судимир махнул служке, и тот вышел, прикрыв дверь.

Они молчали. Закат светил сквозь слюду, и в горнице всё было розовое – книги, стены, шахматы, лицо старика. Только береста на столике была белая.

– Знаешь, что это? – спросил наконец Судимир.

Ждан молчал.

– Её нашли сегодня ночью под окном лекаря Агапита, – продолжал Судимир спокойно. – Сторожевой принёс сотнику, сотник – мне. Сторожевой – дурак, он думал, это любовное письмо. Сотник – не дурак, он прочитал и испугался. И правильно испугался. За такую бересту в Гостиграде вешают. Сначала того, кто написал. Потом того, кто нашёл. Потом того, кто читал.

Он взял бересту двумя пальцами и поднёс к свету.

– «Князь до Купальской ночи не доживёт. А мне и печали нет», – прочитал он вслух. – Сильно. Почерк, правда, странный. С наклоном. С хвостами. Левая рука, верно. Знаешь, Ждан, я такой почерк видел. Давно. Двенадцать лет назад.

У Ждана похолодело внутри.

– Я не знаю, о чём ты, судья, – сказал он.

– Знаешь. – Судимир положил бересту на столик. – Ты знаешь, и я знаю. Давай не будем тратить время. У тебя его мало, а у меня ещё меньше – я старый.

Он повернулся в кресле и посмотрел на Ждана прямо. Глаза его, обычно полуприкрытые, были открыты широко. Они были светлые, серые, очень ясные. Ждан понял вдруг, что никогда не видел их так близко.

– Твоя мать, – сказал Судимир, – умела слышать несказанное. Она писала его левой рукой, вот этим самым почерком. Я знал её. Я знал её лучше, чем ты думаешь. Она мне рассказала. Давно, ещё до тебя. Я один при дворе знал. Когда её судили, я молчал, потому что, если бы я сказал правду, её бы сожгли вместо того, чтобы утопить. Ведьм у нас жгут. Лжеписцев топят. Я выбрал ей лёгкую смерть. Ты понимаешь?

Ждан молчал. Горло сжалось так, что он не мог бы сказать ни слова, даже если бы захотел.

– А потом я пришёл за тобой, – продолжал старик. – Потому что я знал, что у неё был сын. И что дар переходит. И что если ты останешься один на Гончарном, ты пропадёшь. Либо напишешь что-нибудь не тому человеку и тебя убьют, либо сопьёшься от того, что слышишь. Я взял тебя к себе. Я дал тебе перо и место. Я десять лет смотрел, как ты пишешь левой рукой на бересте, и никому не сказал. Ни одному человеку.

– Ты знал, – прошептал Ждан.

– Знал. С первого дня. – Судимир чуть улыбнулся. – Ты думаешь, я не вижу, как у тебя дрожит рука? Как ты бледнеешь, когда кто-то лжёт? Как ты прячешь бересты в рукав? Я старый, Ждан, но я не слепой. В отличие от некоторых.

Последние слова он сказал тихо, почти небрежно. Ждан вздрогнул.

– Значит, ты знаешь про князя.

– Знаю. Князь слепнет. Это знают трое: лекарь, князь и я. Теперь четверо. – Судимир кивнул на бересту. – А ещё я знаю, что кто-то хочет его смерти. Это я тоже давно знаю. Я сорок лет при дворе, Ждан. Кто-нибудь всегда хочет смерти князя. Вопрос в том, кто сможет.

– Воевода, – сказал Ждан.

– Воевода. – Судимир вздохнул. – Ты слышал его несказанное. Он не хочет убивать. Он хочет не мешать. Это разные вещи. Это то, что в нём живёт двенадцать лет, с тех пор как князь казнил его брата за трусость в бою. Брат не был трусом, его оклеветали. Твердята знает. Князь – нет. Твердята служит, потому что дал клятву. Но любить не обязан. Это я тоже знал.

– А лекарь?

Судимир молчал. Смотрел на Ждана.

– Лекарь травит князя, – сказал Ждан. Голос его был хриплый, ломкий. – Не лечит, травит. Медленно. Я слышал. И не только князя. На Купалу…

– На Купалу, – перебил Судимир, – будет пир. Да. И ты думаешь, что в меды подольют отраву. Ты прочитал записку мальчишки.

Ждан замер.

Он не говорил о записке. Никому, кроме Ратши.

– Откуда ты знаешь про записку? – спросил он.

Судимир не изменился в лице. Он помолчал и сказал спокойно:

– Демьяниха. Мать утопленника. Она приходила ко мне сегодня утром, плакала. Сказала, что отдала тебе записку сына, а теперь боится. Просила, чтоб я тебя остановил, чтоб ты её не впутывал. За дочку боится.

Ждан смотрел на него. Это было похоже на правду. Демьяниха боялась. Демьяниха могла прийти к судье. Это было похоже на правду. Очень похоже.

– Ждан, – сказал Судимир мягко, наклоняясь вперёд. – Послушай меня. Ты влез туда, куда тебе лезть нельзя. Ты хороший, честный мальчик, ты сын своей матери, и я тебя люблю, как сына, которого у меня не было. Но ты влез в болото по пояс. Ещё шаг – и с головой. Я этого не хочу. Отдай это мне.

– Что отдать?

– Всё. – Старик развёл руками. – Бересты. Все свои бересты, что ты двенадцать лет собираешь. Я знаю, что ты их хранишь. Твоя мать тоже хранила. Отдай их мне, я их спрячу так, что никто никогда не найдёт. Записку мальчишки. И склянки, что ты унёс у лекаря. Отдай, а я сам пойду к князю. Я знаю, к кому идти, кому говорить, как говорить. Меня послушают. Тебя – нет. Тебя повесят раньше, чем ты рот откроешь.

Ждан сидел неподвижно.

Склянки.

Он не говорил про склянки. Никому, кроме Ратши. Демьяниха не знала про склянки. Только Ратша знал. И тот, кто их хватился.

– У меня нет берест, – сказал Ждан медленно. – Я их сжигаю. Каждый вечер.

– Сжигаешь, – повторил Судимир.

– Сжигаю. Я не хочу их хранить. Это страшно.

– А склянки?

– Какие склянки? – Ждан посмотрел старику в глаза. – Я ничего не уносил у лекаря. Береста выпала. Я подходил к его окну вечером, хотел с ним поговорить про горло. Он не открыл. Я ушёл. Наверное, тогда и выпала.

Судимир смотрел на него долго. Очень долго. Закат догорал, и розовое в горнице становилось серым.

Потом Ждан сделал то, чего сам от себя не ждал.

– Судья, – сказал он. – Можно, я запишу, что ты мне велишь? Для памяти. Я ведь ещё и путаю, когда устаю. Ты много сказал, я боюсь забыть.

Он достал из кошеля бересту и писало. И уголёк. Положил бересту на колено.

Судимир смотрел на его руки. На бересту. На писало в левой руке. На лице его ничего не отразилось. Совсем ничего.

– Пиши, – сказал он.

Ждан обмакнул уголёк в слюну, чтобы лучше писал, и начал выводить правой рукой: «Судья Судимир велит…»

– Велю тебе, – сказал Судимир медленно, отчётливо, будто диктовал грамоту, – беречь себя. Велю не ходить ночью по детинцу. Велю не говорить ни с кем о том, что слышал. Велю

принести мне всё, что у тебя есть, если вдруг найдётся, что ты не сжёг. Велю помнить, что я тебе не враг. Что я твою мать любил. Да, любил, Ждан. Я никому этого не говорил. Сорок лет. Я её любил, а она меня – нет. Она вышла за гончара, за Луку, за простого человека, у которого руки были в глине. А я остался судьёй. И когда её судили, я сидел рядом и молчал, потому что ничего не мог сделать. Ничего. Ты понимаешь?

Голос его дрогнул. Впервые за все десять лет Ждан слышал, как у Судимира дрожит голос.

Правая рука Ждана выводила слова одно за другим.

Левая лежала на бересте.

Неподвижно.

Ждан ждал. Холода не было. Пальцы были тёплые, обычные. Писало лежало в них мёртвым куском кости.

Судимир говорил. Про Ведану. Про то, как она смеялась. Про то, как он увидел её впервые на Торгу, тридцать лет назад, с корзиной яиц. Про то, как он ходил к ней за письмами, хотя писать умел и сам. Про то, как плакал, когда она умерла. Он говорил долго, тихо, с паузами, и в этих паузах, Ждан знал по опыту, всегда что-нибудь прячется. У любого человека. Когда человек рассказывает о любви, о смерти, о вине, – он всегда что-нибудь глотает. Всегда.

Левая рука лежала неподвижно.

Ничего.

Ждан двенадцать лет записывал несказанное. Тысячи людей. Мужики, бабы, бояре, холопы, попы, дети. Даже князь. Даже воевода, который говорил ровно то, что думал, – и в том в конце нашлось. У каждого было хоть что-то. Хоть одно слово. Хоть «скорей бы обедать». Не бывает людей, которые говорят всё, что хотят сказать. Не бывает.

У Судимира не было ничего.

Пустое место.

Старик говорил о любви, о смерти, о слезах – и внутри у него было пусто, как в выеденном яйце. Как в колодце, из которого вычерпали всю воду. Как в доме, из которого вынесли всё до последней лавки.

Ждан почувствовал, как по спине у него бежит пот.

– Записал? – спросил Судимир.

– Записал, – прошептал Ждан.

– Покажи.

Ждан протянул ему бересту. Судимир взял, прочитал правый столбец. Посмотрел на левый, чистый. Улыбнулся – той же тонкой, сухой улыбкой.

– Хорошо записал, – сказал он. – Всё верно. – И вернул бересту. – Иди, Ждан. Подумай над тем, что я сказал. Я буду ждать. Три дня. Через три дня принеси мне всё, что у тебя есть. Если, конечно, найдётся.

Он взял со столика бересту Твердяты и сунул за пазуху.

– А это останется у меня, – добавил он. – Для твоей же безопасности.

Ждан встал. Поклонился. Ноги держали плохо. Он пошёл к двери, и уже у самой двери Судимир окликнул его:

– Ждан.

Ждан обернулся.

Старик сидел в кресле, в полумраке, и лицо его было почти не видно. Только глаза блестели.

– Ты ведь понял, да? – сказал Судимир тихо. – Что у меня в левом столбце пусто.

Ждан не ответил.

– Это потому, – сказал старик, – что мне нечего прятать. Я всё говорю, что хочу. Всегда. Вот и всё. Не ищи тайны там, где их нет. Иди.

Ждан вышел.

Он шёл через сад, мимо пруда, мимо яблонь, и сумерки сгущались вокруг, синие, тёплые. В пруду плеснул карась. Где-то в малиннике пела птица. Калитка скрипнула за ним и закрылась.

Он шёл по Торгу, по пустой площади, и не видел ничего.

«Мне нечего прятать».

Неправда. Это Ждан знал наверняка – так же, как знал, что вода мокрая, а огонь жжётся. Люди, которым нечего прятать, не бывают. Он двенадцать лет на это смотрел. Даже святые – а он записывал однажды одного старца-отшельника, которого привели свидетелем, и тот был по-настоящему свят, – даже у святого нашлось: «Господи, как я устал от людей».

Пустота – это не честность. Пустота – это что-то другое. Что-то, чего Ждан не понимал и что пугало его больше любой бересты.

И склянки. Старик знал про склянки. Значит, лекарь хватился и сказал. Сказал – кому? Судимиру. Почему Судимиру? Почему не воеводе, не князю, не Збыславу?

Ждан остановился посреди площади. В темноте за его спиной кто-то шёл. Он слышал шаги – мягкие, осторожные, на расстоянии. Остановился – и шаги остановились. Пошёл – и шаги пошли.

Он не обернулся. Он пошёл дальше, к Гончарному концу, медленно, ровно, как ходил всегда. А в голове у него билась одна мысль, страшная, как камень на верёвке.

«Я выбрал ей лёгкую смерть».

Кто выбирает смерть, тот её и назначает.

Шаги шли за ним до самого дома. Когда он запер дверь, они затихли за забором. Он стоял у окна, не зажигая света, и смотрел на пустырь, на тёмный силуэт ивы, на обгорелый материн дом.

Там, в темноте, у забора, кто-то стоял. Он не видел кто. Только тень, чуть темнее темноты.

Потом тень ушла.

До Купалы оставалось девятнадцать дней. У него было три дня, чтобы решить, кому верить. И он уже знал, что Судимиру – нет.

Он не ложился. Он зажёг лучину, завесил окно рогожей и сел писать.

Он писал правой рукой, своим судейским почерком, ровным и честным. Писал всё, что знал, по порядку, как пишут дознание. Про воеводу и его несказанное в судной избе. Про монаха в корчме у перевоза. Про приданое и три пропавших соболя. Про князя, который не видит лиц. Про лекаря на лестнице и три седмицы капель. Про Фому и его записку. Про склянки с белым и красным воском и про мышь в кадке. Про счёт с пометкой «Получено от З.». Про человека с волчьим перстнем. Про Гудима, который прощает долги дюжинами. И про судью Судимира, у которого левый столбец пуст.

Про дар он не написал ни слова. Он писал так, будто всё это слышал и видел сам, ушами и глазами, как любой писарь. Где не мог объяснить, откуда знает, – писал «мне ведомо». Это было почти правдой.

Береста кончилась, он взял вторую, третью. Рука устала, пальцы свело. Лучина догорела, он зажёг новую. За окном начало светать.

Под конец он написал: «Записал я, Ждан, Лукин сын, писарь судной избы, своей рукой, на случай. Если со мной что случится – знайте, что я не пил».

Он перечитал последнюю строку и криво усмехнулся. Фома бы понял.

На рассвете, когда на Гончарном ещё спали и только петухи орали по дворам, он вышел на пустырь, сунул свёрнутые бересты в дупло ивы, к склянкам, и снова заложил вход сухой травой. Потом долго стоял, глядя на материн дом, на бузину над печью, на небо в провале крыши.

– Ты бы знала, что делать, – сказал он шёпотом.

Бузина качнулась на ветру. Больше ничего.

Глава 10. Поруб

– К князю, – сказал Ратша. – Ночью. Через лестницу.

Он сидел на перевёрнутой кадке у Ждана во дворе и строгал ножом палку. Палка была уже тонкая, как лучина, а Ратша всё строгал и строгал, и стружки сыпались ему на сапоги. Он всегда так делал, когда думал. В детстве он так извёл половину плетня у соседа.

– Ночью, – повторил Ждан.

– А как ещё? Днём к нему не пробьёшься. Днём он то на суде, то на совете, то на охоте, и вокруг него сорок человек. Бояре, воевода, лекарь этот. Ты при них рот откроешь – и всё. А ночью у ложницы стоят двое. Завтра в ночь – я и Мирошка. Мирошку я уговорю, он мне должен. Скажу, что к тебе зазноба из терема бегает, надо, мол, провести, он поймёт. Он дурак, но не злой.

– А князь? Он же спит.

– Спит, – согласился Ратша. – Так ты его разбудишь. Скажешь – дело государево. Он за государево дело и среди ночи вскочит. Он такой.

– А если не вскочит? Если велит гнать?

Ратша перестал строгать.

– Тогда я тебя выгоню, – сказал он. – Взашей. И скажу, что ты пьяный ломился, а я тебя остановил. Мне, может, даже награду дадут.

Ждан засмеялся. Смех вышел хриплым, но настоящим. Ратша ухмыльнулся и снова принялся строгать.

Три дня, которые дал ему Судимир, кончались в воскресенье. Ждан решил, что ждать нельзя. Если старик заодно с лекарем – а Ждан теперь был почти уверен, что это так, – то через три дня, когда Ждан не принесёт ни берест, ни склянок, за ним придут. Может быть, раньше. Шаги за спиной ночью на Торгу были не случайными.

Значит, надо успеть к князю раньше.

– Покажешь ему склянки? – спросил Ратша.

– Покажу. И счёт. И записку. И расскажу всё. А там пусть сам решает.

– А если он спросит, откуда ты про воеводу знаешь?

Ждан помолчал.

– Скажу, что слышал. В избе. Своими ушами.

– А ты слышал? – Ратша поднял на него глаза.

– Слышал, – сказал Ждан.

Ратша смотрел на него долго. Потом снова опустил голову и стал строгать.

– Ну, слышал так слышал, – сказал он. – Тебе видней.

В субботу днём Ждан ходил по Торгу. Ему нужно было купить свечей, хлеба и чернильных орешков – обычные дела, обычный день, чтобы никто, кто смотрит, не заметил ничего странного. А смотрели, он был в этом уверен. Он чувствовал это спиной. Рябой служка Судимира дважды попался ему навстречу – сначала у хлебных рядов, потом у колодца. Оба раза служка отворачивался и делал вид, что торгуется.

У кожевенных рядов его окликнули.

– Писарь!

Ждан обернулся. Онфим стоял у своего прилавка, огромный, коричневорукий, в кожаном переднике, и улыбался во всю бороду. На прилавке перед ним лежали ремни, сапожные заготовки, кошели, и все – с той самой тройной дыркой по краю.

– Здравствуй, Онфим.

– Здравствуй, здравствуй. – Кожемяка вышел из-за прилавка и, к ужасу Ждана, обнял его, так что затрещали кости. – Я тебя всё искал, да ты всё в избе. Мясник-то мне долг отдал.

До ногаты. И сверху за обиду. Я жене шубу справил. Ты, писарь, теперь у нас на Заречье в почёте, так и знай.

– Это не я, это судья.

– Судья, – Онфим махнул ручищей. – Судья бы меня засудил, кабы не ты. Я видел, как ты спрашивал. Мне, может, умом не хватает, а глаза есть. – Он понизил голос. – Слушай, я тебе вот что скажу. Если тебе что надо будет – что угодно, – приходи на Заречье. Спроси Онфима-кожемяку, тебя ко мне проведут. Хоть ночью, хоть когда. Понял?

– Понял, – сказал Ждан. – Спасибо.

– И ещё. – Онфим оглянулся. – Ты Гудима знаешь? Купца, который воском торгует?

Ждан насторожился.

– Знаю.

– Он у нас на Заречье ребят набирает. Молодых, крепких. Кому долги прощает, кому так серебра даёт. Говорит, на Купалу будет работа, хорошо заплатят. Какая работа – не говорит. Мне тоже предлагал. Я отказался, мне и своей работы хватает. А ребята пошли. Человек тридцать уже. – Онфим нахмурился. – Мне это не нравится, писарь. Гудим добрым никогда не был. С чего он вдруг добрый стал?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.